

ЭДВИН ПОЛЯНОВСКИЙ

**ГИБЕЛЬ**  
ОСИПА  
МАНДЕЛЬШТАМА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ГРЖЕБИНА  
ПЕТЕРБУРГ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО



Г Р Ж Е Б И Н А

## *Мемуарная и биографическая эссеистика*

BIBLIOTHÈQUE RUSSE  
DE L'INSTITUT D'ÉTUDES SLAVES

TOME XCII



PARIS  
INSTITUT D'ETUDES SLAVES  
9, rue Michelet (VIe)

1993

**Institut d'études slaves**  
**ISSN 0078-9976**  
**ISBN 2-7204-0276-1**

<b>ISSN 0078-9976</b>	<b>R92</b>
<b>ISBN 2-7204-0276-1</b>	<b>10.92</b>

ЭДВИН ПОЛЯНОВСКИЙ

**ГИБЕЛЬ**  
**ОСИПА**  
**МАНДЕЛЬШТАМА**

ПЕТЕРБУРГ — ПАРИЖ  
Издательство Гржебина  
Издательство «Нотабене»  
1993

© Издательство Гржебина, 1993  
© Издательство «Нотабене», оформление серии, 1993

Составитель серии Ив. Толстой

Художник Вяч. Бахтин

На обложке использован силуэт  
работы Е. С. Кругликовой

Отпечатано в ГПП им. Ивана Федорова  
при участии  
Фонда «Ленинградская галерея»  
Тираж 2000 экз.

**ГИБЕЛЬ**  
**ОСИПА**  
**МАНДЕЛЬШТАМА**



## Глава 1

*«Когда я умру, потомки спросят моих современников: «Понимали ли вы стихи Манд[ельштама]?» — «Нет, мы не понимали его стихов». — «Кормили ли вы Мандельш[тама], давали ли вы ему кров?» — «Да, мы корм[или] М[андельштама], мы давали ему кров». — «Тогда вы прощены».*

*Из записной книжки Э. Голлербаха — критика, искусствоведа. 1925 г.*

**В** сущности, он был обыкновенным нищим. От других уличных нищих отличался лишь тем, что подаяние принимал с гордыней, даже с величием. Странность, трагическое несоответствие, как живые слезы юродивого.

Он был нищее, чем нищий, потому что был бездомным.

Бездомнее, чем бездомный, потому что был гонимым.

Говорили, что в обличье  
У поэта нечто птичье  
И египетское есть;  
Было нищее величие  
И задерганная честь.

.....  
Гнутым словом забавлялся,  
Птичьим клювом улыбался,  
Встречных с лету брал в зажим,  
Одиночества боялся  
И стихи читал чужим.\*

---

\* Арсений Тарковский. «Поэт». Далее будут приводиться лишь стихи Осипа Эмильевича Мандельштама.

---

Стихи — его единственное потомство.  
Слова нанизывал, как звуки на нотные линейки.

Послушайте строки, литературоведы именуют их этюдом, а по мне — роман в стихах. Вот он, весь:

Из полутемной залы, вдруг,  
Ты выскользнула в легкой шали —  
Мы никому не помешали,  
Мы не будили спящих слуг...

Это написал мальчик семнадцати лет.  
Год спустя:

На стекла вечности уже легло  
Мое дыхание, мое тепло.

А здесь ему уже двадцать:

Неужели я настоящий,  
И действительно смерть придет?

Юношеская ретроспектива: любовь — призывание — смерть.

Он как бы действительно не умер, а растворился. Душа ушла, не оставив нигде тела.

Промаялся, истаял, растворился.

Для меня нет больше красивых легенд о его гибели. Знаю теперь, смерть была будничной и оттого еще более чудовищной: обыденность, привычность — признак варварства государства, а не отдельных палачей. Я хочу к его предсмертной минуте приблизиться, причалить, как к неизбежной пристани.



**Осип Мандельштам.**  
Выборг. 1911 год (?)



---

---

Массовый порок: устлав дорогу к светлому будущему сотней миллионов невинно убиенных, мы до сих пор, как в эпоху социалистического реализма, старательно выводим закономерности творческого развития личностей и только потом иногда — жизненного пути. Меняются местами причина и следствие.

Мне хочется бежать от моего порога,  
Куда? На улице темно,  
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,  
Белеет совесть предо мной.

...Назад, вниз, из наших сумрачных дней —  
в те, беспросветные, по шаткому висячему мосту.

\* \* \*

Что более всего держит поэта на земле? Из юношеской поэтической ретроспективы Осипа Мандельштама вычтем смерть, и останется — призвание, любовь.

Призвание предполагает читателя, в крайнем случае слушателя. И тех, и других он оказался в массе лишен. Не Блок, не Маяковский, не Демьян Бедный. С трудом пробивался в журналы, еще труднее — в издательства. «Камень» (1913), «Tristia» (1922), «Вторая книга» (1923) — пусть не вводит в заблуждение современного читателя перечень названий. Даже «Стихотворения» — книга избранной лирики, итог почти двух десятилетий — вышла тиражом всего в две тысячи экземпляров.

---

Слушатели? «Стихи его усердно переписывались и заучивались наизусть любителями поэзии, но в печати откликов не получали, — вспоминает писатель Николай Чуковский. — Читатели его любили страстно, но это были читатели только из среды наиболее образованных слоев интеллигенции. Слишком большие требования к поэтической культуре читателя предъявлял его стих. Как многие русские поэты первой трети двадцатого столетия, он был лишен величайшего счастья <...> быть народным, быть любимым и понимаемым миллионами русских людей. <...> Мандельштам был великий русский поэт для узенького интеллигентского круга».

Вот вам один из путей к одиночеству. Путь от малозаметной пунктирной тропы, когда всякий мыслящий и чувствующий еще надеется, что он рожден для всего мира. Был он достаточно замкнут, жил больше на небе, чем на земле. Понимал ли Осип Эмильевич, что он — поэт для поэтов?

В середине лета 1916 года Мандельштам, отдохавший в Старом Крыму, готовился к сборному концерту в Феодосии. Он нанял извозчика и по всему городу возил художницу Юлию Оболенскую в поисках парикмахера для нее. Всем проходящим он задавал один и тот же вопрос: где дамский зал? Наконец их провели через увешанный бельем неряшливый дворик, что-то вроде прачечной, какая-то растрепанная баба схватила плойку вместо щипцов и перед мутным осколком зеркала принялась завивать худож-

---

ницу мелким барашком. Мандельштам растерялся, упал духом:

— Теперь я знаю, кто «они», перед кем читать придется.

Растрепанная баба — та самая кухарка, которую через два-три года призовут управлять государством, и в неряшливый дворик превратится вся страна.

Мандельштама действительно освистали, под хохот публики он трижды повторял одни и те же строки.

— Я с ними проходил три раза то, что им было непонятно,— говорил он потом растерянно.

Ходасевич и Массалитинов предусмотрительно читали на «бис» Пушкина, и восторженная публика кричала: «Довольно этих Мандельштамов!»

Юлия Леонидовна Оболенская вспоминает об этом вечере: «О[сип] Э[мильевич] — замечательный поэт. Его чтение — последняя степень искренности <...>».

\* \* \*

Хочется увидеть поэта в те редкие минуты, когда он спокоен, сыт и хотя бы не просит денег. Когда он любит и любим. Остались и такие воспоминания о нем, но они все равно грустные.

Э. Голлербах: «<...> Стоял сегодня в очереди за супом в Доме литераторов. За длинным

---

столом, уставленным щербатыми тарелками с гербами, орудовала рыжая дама очень подержанного вида.

〈...〉 Глядим друг другу в затылок и ненавидим и очередь, и скверный суп, и соседей, и самих себя. 〈...〉

«Что ж вы мне полтарелки налили?»

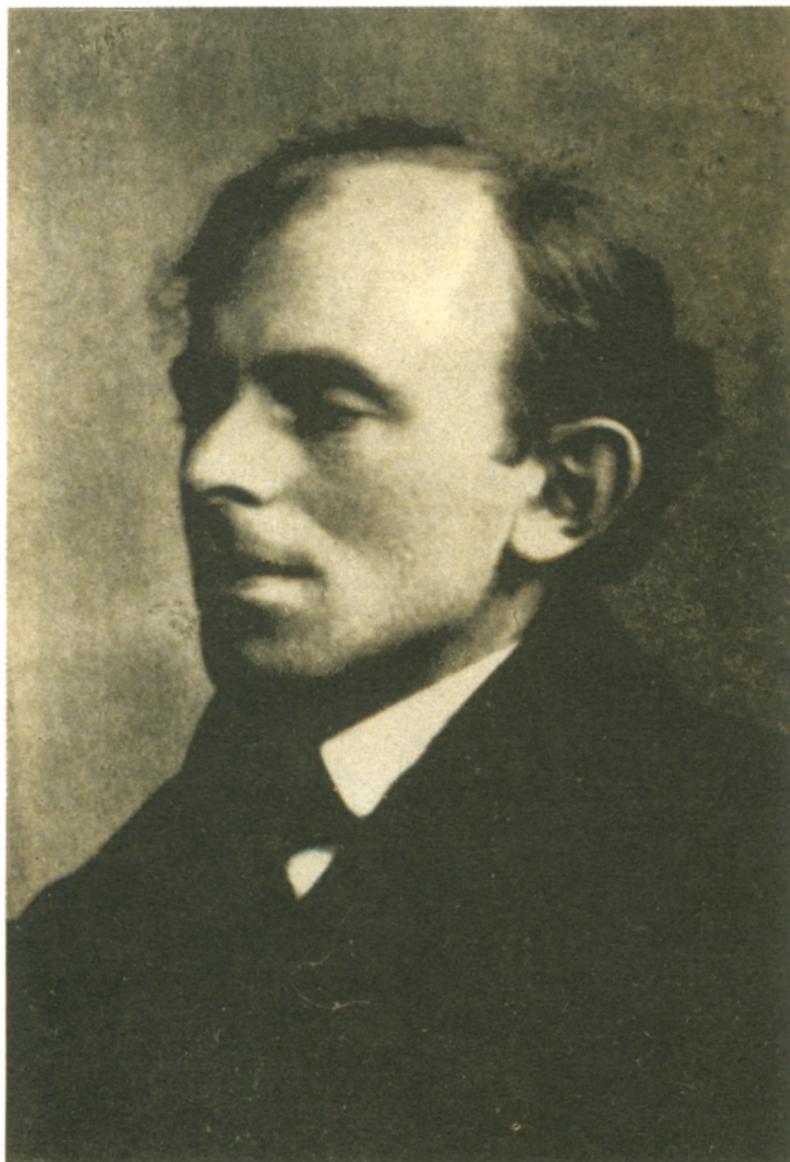
Рыжая сразу трясет серьгами и огрызается: «А по-вашему, нужно до краев? Жирно будет!» И начинается перепалка.

〈...〉 Вокруг все знакомые лица, каждый день почти одни и те же. Вот чинно хлебает суп, опустив глаза, прямой и торжественный Мандельштам. Можно подумать, что он вкушает не чечевичную похлебку, а божественный нектар.

〈...〉 Он немножко бестолковый, иногда точно отсутствующий, иногда панически-озабоченный.

〈...〉 Он какой-то бездомный, егозливый и, вероятно, довольно несносный в общечитии, но есть что-то трогательное в том, что он так важно вздергивает кверху свою птичью, взъерошенную головку, и в том, что он всегда небрит, а на пиджаке у него либо пух, либо не хватает пуговицы. К нему бы нужно приставить хорошую русскую няню, которая мыла бы его и кормила манной кашей. А он читал бы ей за это стихи и предлагал бы взять из его ладоней немного солнца. 〈...〉»

Едва ли можно вспомнить истинно великого русского поэта, кому любовь была бы жизненной опорой,— слишком беспокойна, хрупка и ревнива душа, слишком беззащитна. Кому? Пуш-



**Осип Мандельштам.**  
(Из групповой фотографии, 1919 год)





**Надежда Мандельштам (Хазина).**  
20-е годы



---

кину? Лермонтову? Блоку? Есенину? Маяковскому?

Любовь — еще один путь поэта к одиночеству.

Но разве не любил Осип Надежду и разве она не была ему няней?

«Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах. Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела» (Анна Ахматова).

А она, Надя?

«Вот так они идут по Невскому, по Литейному, по моей Тринадцатой линии... Поэт и его жена. Сам Осип Эмильевич вышагивает впереди — прямой, плечи вздернуты, голова вскинута, руки на весу. Немного приотстав и часто-часто семеня ногами, за ним поспешает его Наденька, невысокая, долгоносая (...). Тащит его увесистый портфель: «Нельзя ему самому нести, у него сердце...» (Надежда Вольпин — поэтесса, переводчица).

Наденька, верная рабыня, и сама не без искры божьей, занимавшаяся когда-то в художественной студии, могла себе позволить лишь печальный упрек:

— Ты убил во мне художницу!

В ответ:

---

— Разве художника можно убить? Если он дал себя убить, значит, его и не было.

На лице Наденьки покорность и смирение. «Русской няней» она все же ему не стала. Такая же безбытная, как он сам. «Денег у них вроде бы много больше, чем у меня <...>, а быт растрепанный, нищенский» (Надежда Вольпин).

Велика ли разница — неприкаянность одного или неприкаянность двоих?

\* \* \*

Какой аккорд найти композитору или, может быть, единственную ноту, чтобы выразить в звуке нечаянное появление на земле блаженного поэта, его отчуждение от мира сего? Художнику — какие выбрать тона? А скульптору? Находят же бессмертные черты у других. В центре Москвы, на шумной площади, возвысился современник Мандельштама, тоже поэт: могучий — во весь рост — величественный трибун, твердый взгляд и стать.

Если о памятнике, я поставил бы двоим, пусть будут вместе. И где-нибудь в тихом, почти укромном месте, чтобы через полвека как бы обрели покой. Что должно быть главным — их место в родном Отечестве, вид на жительство.

...Осень, дождь. Ленинградский вокзал в Москве. Время — начало второй половины тридцатых, короткие сумерки полусвободы между двумя арестами. Осип и Надя сидят рядом на по-

---

---

тертом чемодане, ждут поезд. Они едут в Ленинград, для них — все тот же Петербург. К кому? Зачем? Прошла волна арестов, город полумертв.

Осипа с Надей увидел случайно Николай Чуковский:

«Чемодан был маленький, и, затерянные в огромном зале, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, как два воробья. Я подошел к ним, и в глазах Мандельштама блеснула надежда. Он спросил, каким поездом я еду. Я ехал «Стрелой».

— А мы на час позже, — сказал он. — Мы пошли бы посидеть в ресторан, но...

Я понял его и дал ему пятьдесят рублей».

Помоги, Господь, эту ночь прожить:

Я за жизнь боюсь — за Твою рабу —

В Петербурге жить — словно спать в гробу.

Петербург, Москва, Тбилиси, Ростов, Пермь, Воронеж, Калинин. Обживали чужие углы, ночевали на скамейках Тверского бульвара.

Только в одной лишь Москве и только на рубеже тридцатых годов, в течение коротких трех с небольшим лет, Мандельштамы сменили более десятка адресов. Гостили либо снимали комнату:

на Страстном бульваре, дом 6, у Надиного брата Евгения Яковлевича;

в одном из Брестских переулков между Садовой и Белорусским вокзалом;

в новом доме на углу Спиридоньевского переулка и Малой Бронной улицы;

---

в Старосадском переулке, в комнате Александра Эмильевича Мандельштама, брата Осипа; на Покровке; на Кропоткинской набережной, в общежитии для приезжающих ученых; на Большой Полянке; на Тверском бульваре, в правом флигеле Дома Герцена — в узкой комнате, в одно окно; там же — в большой комнате; в Болшеве, под Москвой; два или три раза на улице Щипок у близкой знакомой Эммы Григорьевны Герштейн (она и поныне здравствует в Москве); снова Страстной бульвар, у Евгения Яковлевича.

Невозможно постоянно жить в чужой обстановке. Наденька уставала. Лежала, укрывшись с головой пледом. Осип Эмильевич:

— Наденька, ты — Камерный театр!

Наконец получили ордер на квартиру. Прожили в ней менее двух лет — до нового ордера: на арест...

«В новой квартире, — вспоминает Эмма Герштейн, — обнаружались ранее незаметные черты Мандельштамов. В первую очередь — гостеприимство. Угощали тем, что есть, — уютно, радушно, просто и артистично. Желая компенсировать знакомых за свое бывшее житье по чужим квартирам, Мандельштамы с удовольствием пускали к себе пожить старых друзей».

Первой была приглашена Ахматова, но сумела приехать только в середине зимы. Приехал

---

и четыре месяца гостил у Мандельштамов сын Ахматовой и Гумилева — Лев.

Некоторое время у них ночевал вернувшийся из ссылки поэт Владимир Пяст. Пустить его к себе после ссылки — это был поступок.

«Однажды вечером, — вспоминает далее Э. Герштейн, — я застала Мандельштамов в суете и тревоге. Они бегали в волнении из комнаты в ванную, что-то мыли и вытряхивали. «Понимаете? Икс завел у нас вшей. Что делать?» Поздно вечером раздался звонок в дверь. Даже Надя, при всей своей несмущаемости, пришла в замешательство. А Осип Эмильевич открыл дверь и, не впуская Икса в квартиру, сказал просто и прямо: «Вот что, Икс, вы завшивели. Вам надо пойти в баню вымыться и продезинфицировать всю одежду. После этого приходите. Сегодня, к сожалению, мы не можем вас впустить». Я видела по лицу Икса, что он был поражен ужасом, но обиды не чувствовалось. Это было удивительное свойство Осипа Эмильевича: в важные минуты — а отказать в ночлеге бездомному человеку было очень трудно — у него появлялись решимость и прямота. При нервозности и суетливости Мандельштама это всегда поражало неожиданностью, так же как его мужественно теплое рукопожатие и открытый взгляд прямо в глаза собеседнику».

...С неистребимыми вшами ему придется прожить остаток жизни.

---

\* \* \*

По большей части великие поэты посвящали лучшие строки не женам. Когда вспоминаешь любовную лирику Пушкина или Тютчева, сразу встают образы Керн, Денисьевой. Порывы страсти для поэта — более могучий источник вдохновения, чем гладкая любовь. Увлечение сильнее привязанности.

Стихи являются только как результат сильных потрясений — радостных и трагических, считал Мандельштам. Что ж, спокойных, безмятежных дней у него не было, душа передышки не знала. Наденька была также источником вдохновения и беспокойства, а кроме того — советчиком и душевной опорой. Не берусь назвать самые пронзительные посвящения поэта женщинам, которым он поклонялся, но то, что обращено к жене, также принадлежит мировой лирике.

Россия, чудовищные тридцатые — другого места и времени нет на земле для подобной лирики.

Еще не умер ты, еще ты не один,  
Покуда с нищенкой-подругой  
Ты наслаждаешься величием равнин,  
И мглой, и холодом, и выюгой.  
.....  
Несчастлив тот, кого, как тень его,  
Пугает лай и ветер косит,  
И беден тот, кто сам полуживой,  
У тени милостыню просит.

Стихи написаны в середине января 1937 года.

Минск 19/1 39г.

Уважаемый товарищ Захаря!

В мае 38 года был арестован поэт О.Э. Мандельштам. Мы его  
знали лишь по известию, что он осужден ОСО на 5 лет СВ ИТЛ за КЧД  
(пришли у Мандельштама и нечего судимости по СВ ИТЛ)

Вторичный арест 38 года явился полной неопределенностью. Ко-  
гда Мандельштам закончил книгу стихов, вопрос о печатаном  
т.е. неоднократно ставился С.В.И. Мы скорее могли ожидать его полного  
свободный и возвращены к активной литературной деятельности, чем  
иной.

Мы не знали, какими образом велось следствие о контр-революционной  
деятельности Мандельштама - если д. - следствие его велось в тесном  
контакте с органами ОГПУ или НКВД - не было привлечена к этому  
делу в качестве свидетелей или хотя бы свидетелем.

Приведу, что во время первого ареста в 1934г. Мандельштам был  
арестован НКВД - приехал следствие и следствие развернулось во время  
пленения. К моменту второго ареста Мандельштам был уже в полной  
изоляции и не имел никаких контактов.

Я прошу Вас:

1. Водить в органы переделку дела О.Э. Мандельштама и выяснить  
какими ли были основания для ареста и ссылки.
2. Проверить психическое здоровье О.Э. Мандельштама и выяснить  
использована ли в этот период была ссылка.
3. Наконец, проверить не было ли при нем никаких записок, записок  
или документов в этот период.

И еще - выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос:  
достаточно ли было оснований НКВД, чтобы удерживать поэта  
в лагерях в период его активной и дружелюбной творческой  
деятельности.

Надежда Мандельштам.

И. Фурманов 2/3/39  
№ 24667

33

109



---

Почему-то за высокими примерами женской верности и жертвенности мы обращаемся к античным временам, самые близкие к нам образцы, ставшие хрестоматийными, — жены декабристов. Но вот же наша современница, лицом к лицу — Надежда Мандельштам. Добивается, чтобы вместе с мужем отправили под спецконвоем и ее — в ссылку, в Чердынь. Она и во Владивосток, на гибельную Вторую речку кинулась бы за ним, только бы позволили.

Вот документ чрезвычайной силы и достоинства. Обращение в столь недосыгаемый, могущественнейший адрес — как к самому Богу, уж всегда по имени-отчеству, «Вы» — с большой буквы. Ничего этого нет в письме, а главное — ни слова мольбы. Документ этот никогда не объявлялся, кажется, нигде не вспомнила о нем сама Надежда Яковлевна, — видимо, написано было в единственном экземпляре и — кануло.

«Москва, 19/1—39 г.

Уважаемый товарищ Берия!

В мае 38 года был арестован поэт О. Э. Мандельштам. Из его письма мне известно, что он осужден ОСО на 5 лет СВИТЛ за КРД. В прошлом у Мандельштама имеется судимость по 58 ст. (за контр. револ. стихи).

Вторичный арест 38 года явился полной неожиданностью. К этому времени Мандельштам закончил книгу стихов, вопрос о печатании которой неоднократно ставился С.С.П. Мы скорее могли ожидать его полного восстановления и возвращения к открытой литературной деятельности, чем ареста.

---

Мне неясно, каким образом велось следствие о контр-революционной деятельности Мандельштама — если я — вследствие его болезни в течение ряда лет не отходившая от него ни на шаг — не была привлечена к этому следствию в качестве соучастницы или хотя-бы свидетельницы».

Строки, если вдуматься, безумные: жена осужденного просит — кого, Берию! — считать ее соучастницей, идет на костер.

«Прибавлю, что во время первого ареста в 1934 г. Мандельштам болел острым психозом — причем следствие и ссылака развернулись во время болезни. К моменту второго ареста Мандельштам был тяжело болен физически и психически неустойчив.

Я прошу вас:

1. Содействовать пересмотру дела О. Э. Мандельштама и выяснить достаточны ли были основания для ареста и ссылаки.

2. Проверить психическое здоровье О. Э. Мандельштама и выяснить закономерна ли в этом смысле была ссылака.

3. Наконец, проверить не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылаке.

И еще — выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос: достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожать поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности.

Надежда Мандельштам

ул. Фурманова № 3/5 кв. 26  
тел. 2.64667».

---

Письмо подшили в «Дело по обвинению Мандельштама О. Э.» под грифом «секретно». Там оно хранится и поныне: лист дела — пожелтевший, самый длинный в папке, а потому пообтрепавшийся снизу. Чтоб не торчал, его с опозданием подогнули.

Черные сочные чернила. Нет, тушь.

«Проверить психическое здоровье...»

Осипа уже не было, он умер 23 дня назад.

## Глава 2

Он был разным — самоуверенным и растерянным, неприступно-настороженным и легковерным, эгоистичным и отзывчивым, скардным и бескорыстным, ядовито-колючим и обходительным, агрессивно-злым и кротким. В высшей степени обаятельным и совершенно невыносимым для окружающих.

Но почти всегда — беспомощным.

Привязанности, увлечения, влюбленность — все это, конечно, не миновало его чуткую душу. Тут более, чем в обыденности, поэт был беспомощным и подневольным.

Женщин, говоря откровенно, он не очень пленял. Анна Ахматова, считавшая Мандельштама одним из величайших, если не величайшим, поэтом XX века, ухаживания его отвергла довольно решительно. Марина Цветаева, преклонявшаяся перед Мандельштамом как поэтом, поначалу была благосклонна к нему, но потом, в Старом Крыму, просила друзей: «Пожалуйста, не оставляйте нас вдвоем». Майя Кудашева (и всего-то один вполне невинный вечер: его каприз, ее каприз), собираясь туда же, в Коктебель, пи-

---

сала Максу Волошину: «Пра (мать Волошина.— Авт.) попроси Мандельштама выставить с низа, а то он не съедет оттуда, а я его не хочу». Ольга Ваксель: Осип «мне не был нужен ни в какой степени. Я очень уважала его как поэта. ...Вернее, он был поэтом и в жизни, но большим неудачником».

Не знаю, что для поэта опаснее — нерастраченное чувство, скапливающееся как гремучая смесь, или напрасная трата его без взаимности.

Не следовало бы вслед за многими вторгаться в запретный личный мир, пусть даже и для сочувствия, если бы не волшебные, на весь мир, строки в эпилоге этих встреч. «Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...» — Саломее Андрониковой. «За то, что я руки твои не сумел удержать...» — актрисе Александринского театра Ольге Арбениной. «Мастерица виноватых взоров...» — Марии Сергеевне Петровых, это посвящение — след бурной, короткой и безответной влюбленности — Ахматова назвала лучшим любовным стихотворением XX века.

Ты, Мария,— гибнущим подмога.  
Надо смерть предупредить, уснуть.  
Я стою у твердого порога —  
Уходи, уйди, еще побудь!..

Престранный был человек Осип Эмильевич. Рожден, чтобы страдать и чахнуть. В неотвратимые минуты цеплялся за жизнь, а в бестревожные — примеривал для себя могилу.

---

Город Александров, 1916 год. Лето. Мандельштам в гостях у Цветаевой. Точка притяжения — кладбище.

М а р и н а :

— Хорошо лежать!

О н :

— Совсем не хорошо: вы будете лежать, а по вас ходить.

— А при жизни — не ходили?

— Метафора! я о ногах, даже сапогах говорю.

— Да не по вас же! Вы будете — душа.

— Этого-то и боюсь! <...>

— Чего же вы хотите? Жить вечно? Даже без надежды на конец?

— Ах, я не знаю! Знаю только, что мне страшно <...>.

«За чаем Мандельштам оттаивал.

— Может быть, это совсем уже не так страшно? Может быть, если каждый день ходить — привыкнешь? Но лучше завтра туда не пойдём...

Но завтра неотвратимо шли опять» (М. Цветаева. «История одного посвящения»).

«Уехал внезапно — сорвался:

— В Крым. Необходимо сегодня же. <...>

Я-я-я — здесь больше не могу.

А на вокзале:

— Марина Ивановна! Я, может быть, глупость делаю, что уезжаю? <...> Я, наверное, глупость делаю!

Не веря воскресенья чуду,

На кладбище гуляли мы.

— Ты знаешь, мне земля повсюду

---

Напоминает те холмы.

.....  
Нам остается только имя:  
Чудесный звук, на долгий срок.  
Прими ж ладонями моими  
Пересыпаемый песок.

Песок — коктебельские радужные камушки.  
Марина — Волошину:

— Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.

— Марина! <...> влюбленные, как тебе, может быть, уже известно,— глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе <...> булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!»

\* \* \*

«На кладбище гуляли мы»... Бесхозную смерть лагерный врач оформит фальшивой справкой о пребывании покойного в больнице, а начальник лагеря попросит оказавшегося поблизости заключенного:

— Отнеси-ка жмурика.

Заключенный — ленинградец Дмитрий Михайлович Маторин и по сей день жив-здоров. Все помнит:

— Я узнал его — Мандельштам!.. Руки были вытянуты вдоль тела, и я их поправил, сложил по-христиански. И вот руки — мягкие оказались, теплые и очень легко сложились. Я напарнику

---

сказал еще: «Живой вроде...» Конечно, это вряд ли, но все равно и теперь мне кажется: живой был...

Марина Цветаева не знала и знать ничего не могла обо всем этом. Но, видимо, душа Осипа более двух с половиной лет спустя витала где-то над Елабугой — в одном из предсмертных писем Марина Ивановна попросила: не закопайте меня живую, проверьте, умерла ли.

\* \* \*

Уехал, сорвался в Крым, в Коктебель. Здесь увидел угловатую девочку-подростка тринадцати лет. Увидел и забыл. Восемь лет спустя в Петрограде вновь увидел ее и был ослеплен, сражен красотой.

Это была самая сильная любовь в его жизни, «настоящая любовь-страсть», в чем он и признался Наденьке много позже.

Ольга Ваксель — «Лютик». Из дворянской семьи. Предок по отцовской линии — швед Свен Ваксель, мореход, сподвижник Витуса Беринга. Прадед по материнской линии Алексей Федорович Львов — известный скрипач и композитор, автор царского гимна. Сама Ольга играла на рояле и скрипке, писала стихи, занималась живописью, снималась в кино. Знала французский, немецкий, английский. Вот ее воспоминания о Мандельштаме:

«Он повел меня к своей жене (они жили на Морской), она мне понравилась, и с ними я про-



**Ольга Ваксель — «Лютик».**

На снимке ей 14 лет.

Почти такой увидел ее впервые, годом раньше, в Кокгебеле Осип Мандельштам



---

водила свои досуги. <...> Он снова начал писать стихи, тайно, потому что они были посвящены мне. Помню, как, провожая меня, он просил меня зайти с ним в «Асторию», где за столиком продиктовал мне их. Они записаны только на обрывках бумаги, да еще — на грамофонную пластинку <...>. Он так запутался в противоречиях, так отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла, что было жалко смотреть».

Жизнь упала, как зарница,  
Как в стакан воды — ресница.  
Изогавшись на корню,  
Никого я не виню.

«Для того, чтобы иногда видаться со мной, Осип снял комнату в «Англетере», но ему не пришлось часто меня там видеть. <...> Чтобы выслушивать его стихи и признания, достаточно было и проводов на извозчике <...>.

Осип говорил, что извозчики — добрые гении человечества. Однажды он <...> ждал меня в банальнейшем гостиничном номере, с горящим камином и накрытым ужином. Я недовольным тоном спросила, к чему вся эта комедия, он умолял меня не портить ему праздника видеть меня наедине. Я сказала о своем намерении больше у них не бывать, он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, уговаривал меня пожалеть его, в сотый раз уверял, что он не может без меня жить, и т. д. Скоро я ушла и больше у них не бывала».

Есть за куколом дворцовым  
И за кипенем садовым

---

Заресничная страна,—  
Там ты будешь мне жена.

Лютик отвернулась, и это была редкая милость судьбы.

Она была обречена. Сама назначила себе раннюю смерть, как избавление, определила срок. На Невском она случайно увидела близкую знакомую, та заметила, глянув на платье Лютика: «Такие воротнички выйдут из моды...»

— А я только до тридцати лет доживу. Больше не буду.

Конечно, революция и молодая советская власть руку приложили, не без этого. Анкета помешала получить образование, специальность, приличное место. В 1917-м прервалась ее учеба в Институте благородных девиц. Лютик попыталась поступить в строительный техникум. Пошла работать табельщицей на стройку, летом — корректором в издательство, манекенщицей, кельнершей в кафе «Астория». Кино бросила, так как не желала улыбаться и грустить по чужой воле.

Но главное все же — врожденная замкнутость, к тому же в юности переболела менингитом и с тех пор каждую осень испытывала острые приступы одиночества. Ее стихи вполне отражали характер и настроение: «И заколдованное слово, тоска, стучащая в виски...»

В нее влюбляется вице-консул Норвегии в Ленинграде Христиан Вистендаль — красавец, мо- ложе ее, на взлете карьеры. Он ухаживает за ней

---

---

почти два года и наконец 28 сентября 1932 года увозит ее в Осло.

Вольная воля, свобода. Везение: в эту пору бессрочный выезд интеллигенции на Запад практически прекратился. Родители Христиана встретили Лютика очень радушно, молодоженам отвели большие комнаты в двухэтажном особняке. «Дом очень красив,— писала она в Ленинград матери.— Целую Аську. Береги его. Лютик». Аська — сын от первого брака.

Снова вернулась к стихам, к живописи, начала изучать норвежский. Это длилось меньше месяца.

...В таких случаях всегда вспоминают, что и когда было поправимо: «если бы». Мать Юлия Федоровна в день отъезда хотела предупредить Христиана насчет осени. Но ей не удалось остаться с ним наедине.

Все это пустое. Она ехала умирать и перед отъездом оформила бумагу, в которой поручала матери заботу об Аське.

В ночном столике мужа она обнаружила пистолет, он узнал об этом, но не придавал значения. С Агатой, сестрой мужа, она осмотрела городское кладбище, два крематория, один из них, романтически расписанный, ей понравился: «Вот этот я себе выбираю».

26 октября, ровно в полдень, Лютик выстрелила себе в рот. Шею с правой стороны разнесло, а красивое лицо осталось нетронутым и сохранило полуулыбку.

---

Рану закрыли цветами, а то, что не удалось закрыть, фотограф потом заретушировал — это видно на снимке.

Последние четыре строки ее последнего стихотворения: «Все ясно и легко,— сужу, не горячаь, // Все ясно и легко: уйти, чтоб не вернуться».

В русской поэзии Лютик осталась навсегда благодаря стихам Осипа Мандельштама.

Возможна ли женщине мертвой хвала?  
Она в отчуждении и в силе,—  
Ее чужелюбая власть привела  
К насильственной жаркой могиле.

И твердые ласточки круглых бровей  
Из гроба ко мне прилетели  
Сказать, что они отлежались в своей  
Холодной стокгольмской постели.

.....  
Я тяжкую память твою берегу,  
Дичок, медвежонок, Миньона,  
Но мельниц колеса зимуют в снегу,  
И стынет рожок почтальона.

Анализировать стихотворение — все равно что исследовать состав весеннего воздуха. Но все же дадим слово Арсению Арсеньевичу Смольевскому, «Аське», сыну, живущему в Петербурге.

— Мандельштам узнал о самоубийстве мамы с опозданием на три года. Узнал от случайного знакомого, отсюда неточности — это случилось не в Стокгольме, а в Осло, и не зимой, а осенью. «Жаркая могила» — понятно: крематорий. «Лас-



**И твердые ласточки круглых бровей...**  
(Из семейного архива Ваксель)



---

---

точки» «отлежались» — отзвук сказки Андерсена о раненой ласточке, которая перезимовала в кротовой норе, выздоровела и вернулась домой. «Медвежонок» — в детстве мама никогда не играла в куклы, только с плюшевыми мишками. «Миньона» — Мандельштам назвал ее так за постоянную тоску по солнцу и югу. «Но мельниц колеса зимуют в снегу, и стынет рожок почтальона» — всякое передвижение невозможно, писем ждать неоткуда, все под запретом, жизнь замерла.

...Осип даже не знал, что Лютик тоже пишет стихи.

Он помнил ее всегда, — признает Наденька.

\* \* \*

Влюбился — словно заглянул в пропасть. У нее — страх перед жизнью и жажда смерти. У него — страх перед смертью и жажда жизни («Не разнять меня с жизнью...»). Окажись они вместе, она, волевая, сломала бы его. В отношениях двоих всегда сильнее и независимее тот, кто меньше любит или не любит вовсе, но позволяет себя любить.

Надо бы каждую строку каждого лирического посвящения поэта постигать через жизнь, пройти с поэтом весь путь, пока не отзвучит последнее эхо.

Лютик осиротила оба дома — и в Ленинграде, и в Осло. Сразу после смерти жены Христиан написал Юлии Федоровне: «Я надеюсь вскоре

---

последовать за Ольгой». И правда, умер через полтора года от сердечного приступа. Преуспевающему дипломату был 31 год. Умерли его родители. Дом был продан.

Примерял ли Осип Эмильевич на себя смертную маску Лютика? Все же был он на двенадцать с половиной лет старше своего разлучника-победителя, счастливого несчастливца, а главное, сердце его было куда слабее.

Лютик, Марина. Две женщины-самоубийцы в короткой и хрупкой жизни неуравновешенного поэта — не много ли? Нет, для нашего многострадального отечества, что бы ни делалось, все как раз. Владислав Ходасевич, говоря о том, что в русской литературе трудно найти счастливых, вспоминал: «Только из числа моих знакомых, из тех, кого знал я лично, чьи руки жал,— одиннадцать человек кончили самоубийством».

Странные, словно из нереальности, судьбы, тесно переплетенные,— Лютик и Осип, Осип и Надежда, Осип и Марина, Марина и Сергей Эфрон, за которого она, дождавшись его восемнадцатилетия, вышла замуж. Мысль о самоубийстве преследовала их всех и каждого. Близкий друг Мандельштама знаменитый актер Яхонтов в припадке страха, что его идут арестовывать, выбросился из окна.

В невыносимые минуты Надежда неоднократно предлагала Осипу покончить с собой — вместе, в один миг. «Откуда ты знаешь, что будет потом... — отвечал он. — Жизнь — это дар, от

---

---

которого никто не смеет отказываться». Последний, неопровержимый довод: «Почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастливой?» После Лубянской тюрьмы он тяжело заболел психически, начались слуховые галлюцинации, он жил в ожидании конечной, неизбежной расправы, стихотворную светлую мысль «не разнять меня с жизнью» вытеснила другая, болезненная, чуждая — «надо смерть предупредить, уснуть». Во время первого ареста, в тюрьме, поэт перерезал себе вену лезвием «Жилетт», которое сумел пронести в подошве. В Чердыни он, уже полубезумный, выбросился под утро из окна чердынской больницы. *«Подоконник был высокий. <...> Мы нашли О. М.\* на куче земли, распаханной под клумбу. Он лежал, сжавшись в комочек. Его с руганью потащили наверх».*

Потом, в Воронеже, выздоровев, он отвечал жене:

— Погоди... Еще не сейчас... Посмотрим...

Муж Цветаевой Сергей Эфрон — те же точно признаки болезни. 7 ноября 1939 года после допросов и пыток он попадает в психиатрическое отделение Бутырской больницы «по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки на самоубийство. В настоящее время обнаруживает: слуховые галлюцинации, ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его должны взять, что его жена умерла, что он слышал название

---

\* Так, инициалами, обозначает Осипа в «Воспоминаниях» Надежда Мандельштам.

---

стихотворения, известное только ему и его жене, и т. д. Тревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство невероятного страха и ожидания чего-то ужасного <...>». (Из справки начальника санчасти Бутырской тюрьмы военврача I ранга Ларина.)

Недавно прочел статью моей современницы Лидии Стародубцевой, архитектора, — «Земля без места». «Мы живем, — пишет она. — Живем и проживаем. А недавно ко мне зашел сосед и спросил: «А почему, собственно, не все заканчивают свою жизнь самоубийством? Это было бы так естественно».

Неужели мы снова, спустя более полувека, возвращаемся на круги своя?

...Самоубийство — это не просто отказ от данной Богом земной жизни, но по существу — отвержение Креста и Воскресения Христова. Все самоубийцы лишаются отпевания и христианского погребения. Но эти двое мужчин были бы прощены Богом: состояние безумия — не в счет.

\* \* \*

А все-таки что преподнес Сергей Эфрон Марине в день знакомства — угадал ли милый ее сердцу сердолик или это был обыкновенный булыжник? Она-то убеждена, что «сбылось», ибо Сергей Эфрон чуть ли не в первый день вручил ей сердоликовую бусину. Но ведь любовь слепа, теперь мы знаем Эфрона, его путь от Белой гвардии до НКВД.

---

Сергей Эфрон был довольно близок с Мандельштамом, хотя по характеру был более схож с Гумилевым. Когда Эфрон ушел в Белую гвардию, он был искренен. Когда, после разгрома, разуверился в белом движении — тоже был искренен. В Париже организовал движение соотечественников за Советы без большевиков. «За Советы...» — на этом, а также на желании вернуться в Россию он был пойман нами и, поскольку всегда бился только на передовой, оказался в НКВД, к тому времени еще не столь кровавом, тем более при взгляде из Парижа.

Он оказался в капкане, понял, что возвращаться на Родину нельзя, но вернулся, потому что в Советской России оказалась заложницей Аля, дочь.

От тюрьмы, пыток, лагеря он Алю не уберег. Сам же, после психбольницы, снова оказался в руках палачей.

Его убили сослуживцы. 6 июля 1941 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила Сергея Эфрона, как и всех остальных, проходивших по делу обвиняемых, — к расстрелу.

Он пережил Марину на полтора месяца. Пятеро остальных, проходившие с ним по делу, сознались, что были «французскими шпионами». Он, Сергей Эфрон, — единственный, кто не был сломлен.

Влюбленные — глупеют?..

— Макс! — ответила Марина Волошину. — Я от всего умнею! Даже от любви!

---

\* \* \*

После войны родственникам выдадут справку о том, что Сергей Яковлевич Эфрон был осужден и, отбывая наказание, умер 1 октября 1944 года. На самом деле это было обыкновенное бандитское убийство от имени государства, так же как миллионы других подобных убийств, оно было замаскировано под «десять лет без права переписки» и оформлено смертью в войну.

Война на много лет вперед стала палочкой-выручалочкой не только для политиков и хозяйственников, но и для палачей. Правду о гибели Мандельштама тоже хотели скрыть, не столько от соотечественников, сколько от иностранцев. Не просто скрыть — гибель поэта пытались сделать средством пропаганды: мы хоть и изолировали, но сохранили, пришли фашисты и поэта-еврея уничтожили.

Из воспоминаний Надежды Мандельштам:

*«Для статистики оказалось удобным, чтобы лагерные смерти слились с военными... Картина репрессий этим затушевывалась (...). А кто пустил слух за границей о том, что Мандельштам находился в лагере в Воронежской области и был убит немцами? Ясное дело, что какой-нибудь прогрессивный писатель или дипломат, припертый к стенке иностранцами, которые, как выражается Сурков, лезут не в свое дело, свалил все на немцев, что было удобно и просто...»*

## Глава 3

Всякие опасности миновали поэта. Скрытые — под видом ослепительной красоты и явные — от властей. Его непрочная жизнь была в руках спившегося казака и знаменитого эсера Блюмкина, в руках белых и меньшевиков.

Сверяя судьбу поэта со звездами, хотелось бы вернуться в самое безопасное полушарие — в Старый Крым и подольше задержаться там, вдали от рокового дальневосточного неба.

Коктебель — вполне безмятежное местечко, такая же автономия в жестокую пору братоубийства, как Гуляй-Поле. Правда, Нестор Махно стоял над всеми, громя и белых, и красных, а Максимилиан Волошин — в стороне, любя и молясь за тех и других: «Как поэт я не имею права поднимать меч, раз мне дано Слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг — понимание». В 1919 году белые и красные, беря по очереди Одессу, в прокламациях к населению цитировали одни и те же строки волошинского стихотворения «Брестский мир».

---

К этому времени (1919—1920 годы) неуживчивость Мандельштама уже заметно проявлялась — нервный, обидчивый. Вспышки тревоги. Окружающих раздражают его неряшливость и бесцеремонность. Он никогда не пользуется пепельницей, стряхивает пепел себе за спину, через плечо. Забрасывает окурками диван, расплескивает, проливает в комнатах воду, роется на полках и раскидывает где попало редкие книги хозяина.

С добродушным и гостеприимным Максом они оказались прямо противоположны. Кажется, оба были не причастны к действительности. Но. Один — в костюме странника, другой — странник по душе. Один — казался, другой — был. И один о другом сказал, как есть:

— Ну, разумеется! Мандельштам нелеп, как настоящий поэт! Подлинный поэт непременно нелеп, не может не быть нелеп!

Один писал кованые строки, другой — пелуче-зыбкие.

По-разному относились к чужим строкам начинающих поэтов. Мандельштам, выгнав молодого поэта, который пришел жаловаться, что его не печатают, кричал вслед, на лестнице: «А Андрея Шенье печатали? А Сафо печатали? А Иисуса Христа печатали?» Перестал писать стихи Николай Чуковский, которому Мандельштам сказал: «Каким гуттаперчевым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие». Отвадил от поэзии Вениамина Каверина: «От таких, как вы, надо защищать русскую поэзию». Прослушав

---

Н. Бруни, вспылал: «Бывают стихи, которые воспринимаешь как личное оскорбление».

Волошину же нравилось выводить кого-то в литературный свет, устраивать публикации в журналах. Он в продолжение многих часов выслушивает трагедию в 5 актах молоденькой девицы, возится с безграмотным денщиком какого-то генерала, декламировавшим с эстрады: «Танцуй свою тангу».

Это было не отношение к поэзии, а отношение к людям. Макс никому ни в чем не отказывал. Балерину Тамару Шмелеву отправляет на лечение в Москву, хлопочет о пенсии старому политкаторжанину — шлиссельбуржцу Иосифу Зелинскому.

Стокилограммовый добродушный Макс, который очень редко сердился и которого трудно было поссорить с кем-то, — и худющий, с впалой грудью Осип, вспыхивавший и ссорившийся часто и неожиданно. Макс — всюду дома: в Москве — москвич, в Париже — парижанин. Осип — всюду проездом.

Здесь, в Крыму, был Мандельштаму зловещий знак из будущего.

\* \* \*

На Коктебель откуда-то свалился казацкий есаул, он беспробудно пил, а потом, спохватившись, осведомился: «Есть ли в деревне жида?» Крестьяне очень предупредительно ответили: как же, двое, у моря живут — братья Мандельшта-

---

---

мы. Он явился — пьяный, в страшной кавказской папaxe. Перепуганный Осип сбежал за Волошиным. В разговоре простодушно предложил казаку... Макса: «Знаете что? Арестуйте лучше его, чем меня».

Так вспоминает Волошин. И хотя воспоминания писаны после крутого и шумного разрыва между поэтами, видимо, так и было, могло быть. Есаул согласился: если завтра Мандельштам не явится в Феодосию к десяти утра, Волошин будет арестован.

Утром Мандельштам уехал и пропал на долгие часы.

Он угодил к полковнику Белой армии Цыгальскому, который, как оказалось, сам писал стихи, готовил к изданию книгу. Но не это главное. Главное, он был из тех умных, интеллигентных людей, который понимал, что к истинной поэзии его приближают не собственные строки, а чужие. Он великолепно знал стихи Осипа Мандельштама, был его неистовым поклонником.

Они сидели друг против друга, поэт читал стихи, и это были одни из самых блаженнейших часов в его жизни. Мандельштам редко встречал таких благодарных слушателей, как этот полковник.

Образ твой, мучительный и зыбкий,  
Я не мог в тумане осязать.  
«Господи!» — сказал я по ошибке,  
Сам того не думая сказать.

---

Божье имя, как большая птица,  
Вылетело из моей груди.  
Впереди густой туман клубится,  
И пустая клетка позади.

Грустный полковник сидел, обхватив голову руками, а может быть, и не обхватив, просто сидел, отрешившись от всего на свете.

И, если подлинно поется  
И полной грудью, наконец,  
Все исчезает — остается  
Пространство, звезды и певец!

Несостоявшийся арестант вернулся в Коктебель в полном забвении чувств, в полузабытьи. Он всегда считал, что «поэзия есть сознание своей правоты», и теперь еще раз утвердился в этом.

Вот что писал потом Мандельштам о полковнике в своей упойтельной прозе — в «Шуме времени»:

«Полковник Цыгальский нянчил сестру, слабоумную и плачущую, и больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, — орла добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо копошился под шипенье примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в шинель или в пуховый платок, жалась сестра, похожая на сумасшедшую гадалку. Запасные лаковые сапоги просились не в Москву, молодцами-скороходами, а скорее на базар. Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон. И он, и сестра похожи

---

были на слепых, но в зрачках полковника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная решимость поводыря, а у сестры только коровий испуг. Сестру он кормил виноградом и рисом, иногда приносил из юнкерской академии какие-то скромные пайковые кулечки. <...>

Трудно себе представить, зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии. Такой человек, кажется, способен в решительную минуту обнять полководца и сказать ему: «Голубчик, бросьте, пойдёмте лучше ко мне — поговорим!»

Однажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табака, он прочел стихи. Там было неловкое выражение. <...> «Чьи это стихи?» — «Мои».

Тогда он открыл мне сомнамбулический ландшафт, в котором он жил. Самое главное в этом ландшафте был провал, образовавшийся на месте России. Черное море надвинулось до самой Невы; густые, как деготь, волны его лизали плиты Исаакия, с траурной пеной разбивались о ступени сената».

И море, и траурная пена легко узнаваемы в прозе.

И море черное, витийствуя, шумит

И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

\* \* \*

Какое это наслаждение — проза Мандельштама, забытая, до сих пор неуслышанная. Я за-

---

видую тем, кто еще не знаком с ней. Вот вам заметки «Музыка в Павловске», первые строки: «Я помню хорошо глухие годы России — девяностые годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм — тихую заводь: последнее убежище умирающего века».

Это — Поэт.

И вот, он же — смертный человек.

Волошину, 7.VIII.1920 года: «Милостивый государь! Я с удовольствием убедился в том, что вы под толстым слоем духовного жира, простодушно принимаемого многими за утонченную эстетическую культуру, — скрываете непроходимый кретинизм и хамство коктебельского болгарина. Из всего вашего гнусного маниакального бреда верно только то, что благодаря мне вы лишились Данта: я имел несчастье потерять три года назад одну вашу книгу. Но еще большее несчастье вообще быть с вами знакомым».

Подобные строки непростительны ни правому, ни виноватому.

Итальянский подлинный «Данте» с параллельным переводом на французский, который взял у Волошина и затерял бродячий, рассеянный Мандельштам, послужил лишь началом ссоры. Макс обнаружил еще и пропажу дарственного «Камня» Мандельштама. Осип был тут ни при чем, но Волошин написал записку начальнику Феодосийского порта с просьбой не выпускать поэта, пока он не вернет «похищенной» книги.

---

---

Мандельштам между тем собрался уезжать и по дороге в порт был арестован врангелевской контрразведкой: подозрительным показался гордый вид нищего. Тут же нашлась какая-то женщина, которая заявила, что арестованный пытал ее в Одессе. Мандельштам был в полной панике. Едва перешагнув порог тюрьмы, спросил у офицера: «А что, у вас невинных иногда отпускают?» Он стучал в дверь камеры и требовал: «Вы должны меня выпустить — я не создан для тюрьмы».

Белые решили, что арестант симулирует сумасшествие.

В Коктебеле началась паника. В ту пору Осип был влюблен в Майю Кудашеву, Майя — в Эренбурга. Писатель Эмилий Миндлин собрал их на совет — кому идти на поклон к Волошину. Отправилась Майя — отказ. Миндлин — отказ. Вынужден был отправиться Эренбург, бывший с Максом в размолвке. Наконец Волошин написал начальнику врангелевской контрразведки письмо:

«М[илостивый] г[осударь]! До слуха моего дошло, что на днях арестован подведомственными Вам чинами — поэт Иос[иф] Мандельштам. Т. к. Вы, по должности, Вами занимаемой, не обязаны знать русской поэзии и вовсе не слышали имени поэта Мандельштама <...> то считаю своим долгом предупредить Вас, что он занимает [в] русской поэзии очень крупное и славное место. <...> Если <...> что-нибудь с ним случится, за его судьбу будете ответственны Вы

---

перед русской читающей публикой. <...> Мне говорили, что Мандельштам обвиняется в службе у большевиков. В этом отношении я могу Вас успокоить вполне: Мандельштам ни к какой службе вообще не способен, а также [и к] политическим убеждениям: этим он никогда в жизни не страдал».

Письмо в Феодосию повезли Майя Кудашева и Викентий Вересаев. Начальник контрразведки, получив визитку «княгиня Кудашева», принял Майю любезно, однако тон письма его неприятно удивил:

— А кто же такое Волошин? Почему же он мне так пишет?

— Поэт...— ответила Майя.— Он со всеми так разговаривает...

Мандельштам был снова отпущен и еще более утвердился в мысли, что «поэзия — это власть».

Семь дней морем. Батуми. Здесь он снова был арестован — меньшевиками. И снова отпущен.

\* \* \*

Когда меньшевиков сменили большевики и белые уступили красным, жизнь стремительно, непоправимо понеслась под откос. Но и потом, до конца жизни, он не отказался от мысли, что «поэзия — это власть»:

— <...> Поэзию уважают только у нас — за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают.

---

Майя Кудашева, влюбившаяся в Эренбурга (по всем законам романа и топилась, и травилась), вполне удачно выйдет потом замуж за Ромена Роллана. В трагические дни Мандельштам вспомнит о них всех. Он будет в Воронежской ссылке, когда в СССР придет погостить Ромен Роллан. «Майя бегаёт по Москве. Наверное ей рассказали про меня. Что ему стоит поговорить обо мне со Сталиным, чтобы он меня отпустил...»

В лагере перед смертью просил биолога Меркулова:

— Вы человек сильный. Вы выживете. Разыщите Илюшу Эренбурга! <...> У него золотое сердце.

\* \* \*

Подлинный поэт непременно нелеп...

Сам Волошин поэт также подлинный, но без нелепостей в том смысле, что экстравагантность наряда и поступков была всегда рассчитанной. Он утверждал, что верит в хиромантию, предсказывал судьбу по линиям рук, лечил друзей заговорами, производя впечатление и мудреца, и шарлатана.

Истинно же блаженный, божий человек Осип Мандельштам поставил безошибочный диагноз всему обществу, внешне ещё очень бодрому, набравшему силы, но уже тяжело зараженному. В личном одиночестве он разглядел будущее одиночество державы.

---

Себя губя, себе противореча,  
Как моль летит на огонек полночный,  
Мне хочется уйти из нашей речи  
За все, чем я обязан ей бессрочно.

И — через две строки:

Почимся ж серьезности и чести  
На Западе, у чуждого семейства.

Это он, поэт, с опасностью для себя внушал нам еще в августе 1932 года. А мы только теперь, шесть десятилетий спустя, поняли, что жили все это время без соседей, как будущие, в скором времени, владельцы всего земного шара, жили под псевдонимом, маскируясь под СССР, и только теперь, в лихорадке, ищем подлинное имя.

Строки ясновидящего. Дата еще более ранняя — июнь 1931-го. Ничего не случилось с поэтом в этих краях, но ведь написал же:

На высоком перевале  
В мусульманской стороне  
Мы со смертью пировали —  
Было страшно, как во сне.

Я очнулся: стой, приятель!  
Я припомнил, черт возьми!  
Это чумный председатель  
Заблудился с лошадьми.

---

Так в Нагорном Карабахе,  
В хищном городе Шуше,  
Я изведаль эти страхи,  
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон  
Там глядят со всех сторон,  
И труда бездушный кокон  
На горах похоронен.

И бесстыдно розовеют  
Обнаженные дома,  
А над ними неба мреет  
Темно-синяя чума.

Ясновидец будущего страны, народов, отдельного человека. Шел декабрь 1917-го, лишь месяц минул после революции, всего-то, когда он написал строки, обращенные к Ахматовой.

Когда-нибудь в столице шалой,  
На скифском празднике, на берегу Невы,  
Под звуки омерзительного бала  
Сорвут платок с прекрасной головы...

Указал и место действия. Все тут — и Ленинград, и Жданов, и все мы вместе. Почти все. Когда в большом, зловеще-подавленном зале, набитом новой, советской породой интеллигенции, партийный чиновник казнил Анну Андреевну, лишь две руки поднялись «против».

Совсем не политик и не социолог, поэт «считал пульс толпы», и в этом одна из разгадок его предсказаний, предвестий, пред... — не знаю, чего еще.

---

А, вот, нашел. У Александра Гладкова как раз об этом, именно о Мандельштаме: «〈...〉 Предощущение и рождает стихи, забегающие вперед случившегося. Поэт живет вслед за своими стихами — его настоящая жизнь в них и через них. 〈...〉 У Лермонтова есть выражение «пророческая тоска», то есть тоска предвидения, предчувствия, предощущения, обгоняющих реальную жизнь поэта, как свет обгоняет время 〈...〉. «Поэт — тот фольклорный дурень, который пляшет на похоронах и плачет на свадьбе» (из записи в сухумском дневнике Мандельштама)».

\* \* \*

Трижды выкарабкавшийся из беды, вырвавшийся с юга, Осип Мандельштам неприятно напомнил о себе спасителю. К Волошину обратился с письмом зубной врач Н. Н. Берман: «Не сочтите за труд сообщить мне, если Вам известен адрес г[осподи]на Мандельштама, кот[орый] это лето жил у вас на даче. 〈...〉 Допустимо ли, чтобы интеллигентный человек, не будучи знакомым с врачом 〈...〉 заставляет его на себя работать и затратить золото и другой материал, а по окончании работы просто заявить: «Простите, доктор, я сейчас денег не имею, но 1 июля я пришлю», но вот уже прошло 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> месяца, за это время он был здесь несколько раз и забыл о своем долге...»

---

Золотой зуб Мандельштама стал всеобщей достопримечательностью. В писательских кругах пошла гулять эпиграмма со строкой:

Ужас друзей — Златозуб.

Поэт был слаб здоровьем и к сорока годам сильно изменился. «Он был дурно одет — в одежду с чужого плеча — и потерял почти все зубы», — вспоминает Николай Чуковский.

Мандельштам вставил новые зубы — на золотых штифтах, но и они, в большинстве, скоро выпали, а штифты остались и покривились.

— У него во рту — индустриальный пейзаж.

Зачем затеял я этот разговор, нелюбопытный даже дантистам?

Зачем? Затем...

\* \* \*

В 1932 году скончался Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин — в полдень, в своей постели. «〈...〉 В полдень: в свой час, — писала Цветаева. — 〈...〉 В свой час суток и природы. 〈...〉 11 августа (〈...〉 по-старому конец июля), — явно полдень года, самое сердце лета. 〈...〉 Самый магический, мифический и мистический час суток 〈...〉 как полночь».

Перед смертью была маленькая отрада. Николай Чуковский привез из Москвы известие о том, что стихи Макса пойдут скоро в «Новом мире». Лицо его порозовело, нечленораздельными звуками он снова и снова просил повторить новость.

---

— Скажи, Лида, на какую букву легче дышать? — спросил он ночью дежурившую Лидию Аренс и через полчаса сам ответил: — На «и».

Может быть, он передышал весь алфавит, а может быть, выбрал гласную, после которой можно подводить итог.

Гроб был широкий, почти квадратный. Тучный Волошин лежал с лицом спокойным и добрым. Гроб поставили на телегу, и народ — поселковый, из домов отдыха — двинулся к самой высокой вершине. Исходивший пешком все побережье, Волошин сам облюбовал это место. Лошадь тянула сколько могла, а последние двести метров покойного несли на руках.

Вид отсюда и правда редкостный: пустынный амфитеатр гор и море. Мили, версты. Одно неудобство — на жесткой, соленой земле, под испепеляющим солнцем — ни деревца вокруг, ни куста, ни цветка. Полынные холмы.

Минуло несколько лет, и случилось чудо. В какой-то магический, мифический, мистический час — в полдень, в полночь? — пролетающая мимо птица обронила зерно. А может быть, его занесло сюда ветром. Загадка природы — оно выжило, проросло. Рядом с могилой, со стороны моря, выросла большая, дикая красавица маслина. Когда приближается полдень и солнце становится невыносимым, маслина накрывает могилу плотной тенью.

Это дерево, единственное на побережье, вознаградило Макса за многое, в том числе, может

---

---

быть, и за Мандельштама, который пережил  
своего спасителя на шесть мучительных лет.

...На самой дальней пересылке, на Второй  
речке, под Владивостоком, двое уголовников по-  
тащат, поволокут Осипа Эмильевича к бараку.  
Это будет последнее преследование поэта. Маро-  
деры разомкнут ему рот, возьмут в руки клещи.  
И он не почувствует ни унижения, ни стыда,  
ни боли, как всякий мертвец.

И живая ласточка упала  
На горячие снега...

Это случится на исходе 1938 года. Тоже —  
в полдень.

## Глава 4

Современники, оставшиеся в России, кто постарше — Блок или Гумилев, кто помоложе — Есенин или Маяковский, ушли из жизни раньше, один лишь Блок, больной и брошенный Советами, дотянул до сорокалетнего рубежа. Рядом с ними Осип Мандельштам — горький долгожитель.

Покинувшая Россию Одоевцева пережила поэта вдвое.

В 1920 году Мандельштам легко мог уйти с белыми из Крыма. Новицкий, начальник Феодосийского порта, прекрасно знал поэта, помог бы и полковник Цыгальский. Но об этом даже не возникло мысли. В том же году Юргис Балтрушайтис уговаривал Мандельштама принять литовское подданство. В дальнейшем, когда российская интеллигенция хлынула за рубеж, Мандельштам не раз обсуждал тему эмиграции с Бенедиктом Лившицем, своим шафером на свадьбе. Как вспоминает Екатерина Лившиц: «⟨...⟩

---

---

Мужья обсуждали и осуждали этот отъезд. <...> Они не могли, не хотели отрываться от родины».

Уезжать? Ему? Куда? Нет такого места на земле, где была бы ему отрада. В беззаботное время, в беззаботном Латинском квартале Парижа, семнадцатилетний поэт писал: «Живу я здесь одиноко...»

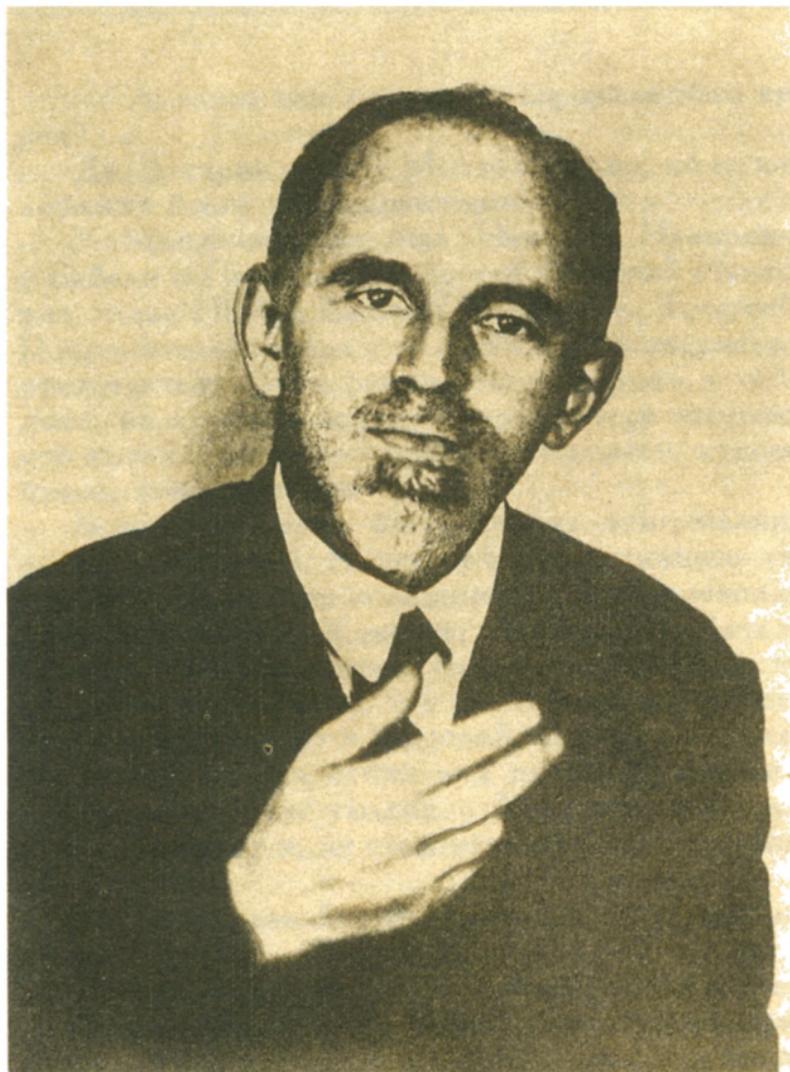
Вырос не там — вот беда. Растить не под серпом и молотом, а под государственной короной в любой части света, на любом клочке земли, стали бы ему родными другие облака, волны и листья, другие восходы и закаты — был бы свободен, обеспечен и, может быть, счастлив.

И все же жаль, что не уехал, пусть против воли. Покоя бы не обрел, но жизнь бы сохранил.

\* \* \*

Писатели, поэты имели в ту пору своих покровителей. Это было едва ли не единственной возможностью выжить, уцелеть.

Мандельштам пытался заслониться, но специально искать высоких заступников не умел и не мог, ибо угождать опекуну (а без этого как?) он бы никогда не смог, наоборот, общеизвестны его способности ссориться с кем бы то ни было. В 1928 году Горький, в ту пору всесильный, приехал в СССР, ленинградские писатели решили в честь его разыграть пьесу «На дне». Инициатором был Федин, он предложил Осипу, жившему тогда в Ленинграде, принять участие в почетной затее. Мандельштам спросил:



**Осип Эмильевич Мандельштам — за год до первого ареста**



---

— А разве там есть роль сорокалетнего еврея?

Да, Бухарин опекал Мандельштама, но их отношения были равноправными.

У Мандельштама был Николай Иванович, у Бабеля и Пильняка — другой Николай Иванович, глава НКВД Ежов. У Есенина — Троцкий. Покровительствовал Каменев — заместитель председателя Совнаркома, он устраивал у себя дома, на кремлевской квартире, вечера творческой интеллигенции — приглашал поэтов, художников, композиторов.

В этих встречах был элемент заигрывания с интеллигенцией, хитрости и примитивного лицемерия. Выслушав волошинские «контрреволюционные» стихи, Каменев, большой любитель поэзии и знаток литературы, высоко оценив их как истинный критик, тут же, при авторе, пишет записку в Госиздат о всецелой поддержке просьбы автора издать стихи «на правах рукописи». Счастливый Макс уходит, а Лев Борисович звонит в Госиздат и, не стесняясь присутствующих, объявляет:

— Не придавайте моей записке никакого значения.

Подобные обманы — не самый большой грех.

Рождалось, тайлось и росло неминуемое трагическое противоречие, ширилась пропасть. Троцкий был совершенно искренен, когда в трудное для Есенина время печатал его стихи в правительственной типографии в вагоне поезда, принадлежавшего Льву Давидовичу как председа-

---

телю Реввоенсовета. Но он был так же искренен, создавая ту систему, при которой и Есенин, и тысячи других поэтов и писателей были лишены права издаваться. Он, Троцкий, написал прекрасный некролог на смерть подопечного поэта — «Сорвалось в обрыв незащищенное дитя человеческое...» — и в то же время явился одним из главных строителей всеобщего ГУЛАГа, в котором погибали миллионы без отпеваний и некрологов.

Бухарин — честный покровитель, устраивал поэту через Молотова путешествие в Армению, хлопотал вместе с Кировым об издании книги «Стихотворения». Вместе с тем объективно создал все возможное, чтобы Мандельштам не был понят ни современниками, ни ближайшими потомками. «Он был лишен величайшего счастья — ...быть народным <...>. Мандельштам был великий русский поэт для узенького интеллигентского круга» — на этих словах я оборвал прежде воспоминания Николая Чуковского. Теперь продолжу: «Он станет народным только в тот неизбежный час, когда весь народ станет интеллигенцией».

Где этот «весь народ» — интеллигенция, где этот «неизбежный час», когда придет? После нас, через несколько поколений. Может быть, лет через сто. Какой там «весь народ»... остатки старой русской интеллигенции развеяли, отштамповав новую — советскую, именно об этом мечтал Бухарин: «Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике».

---

Сбылось. Если раньше русская интеллигенция была проповедником истины, то советская — проповедником идеологии; если раньше Христом русской интеллигенции был народ, то Христом интеллигенции советской — тот, кто первым поднимался на трибуну Мавзолея.

Убив интеллигенцию, мы оборвали породу. Интеллигенцию городскую, сельскую — всю. Все было вырублено под корень, в том числе и, как было принято считать, — самое интеллигентное в мире первое правительство новой России.

Бухарин копал яму и для себя с той же последовательностью. Опекуны уходили в тень, разделяя участь подопечных.

Случалось, что подопечные служили как бы оселком, на них испытывали прочность опекунов; спотыкающийся, тающий поэт показывал, что опекун обречен.

Если до 1928 года Бухарин восклицал: «Идиоты!» — и хватал телефонную трубку, то после тридцатого хмурился: «Надо думать, к кому обратиться». Уже и к Горькому, «Максимиычу», с которым прежде было немало застолий, Бухарин не знал, как подступиться с просьбой помочь опальному поэту.

Очень скоро и сам Горький был заточен в центре Москвы, в барском особняке. К нему не могла попасть даже Крупская. Однажды пришел в гости Бухарин, но без документов: забыл дома. Его не пустили. Он перелез через забор и был схвачен стражей.

---

Впервые Мандельштам обратился к Бухарину за помощью в 1922 году в связи с арестом брата Евгения. Осипа Эмильевича запросто принял Дзержинский, предложил взять брата «на поруки». А следователь учтиво сказал Осипу, поручителю: в случае чего, «нам неудобно будет вас арестовать».

Пройдет немного лет, когда «удобным» станет все.

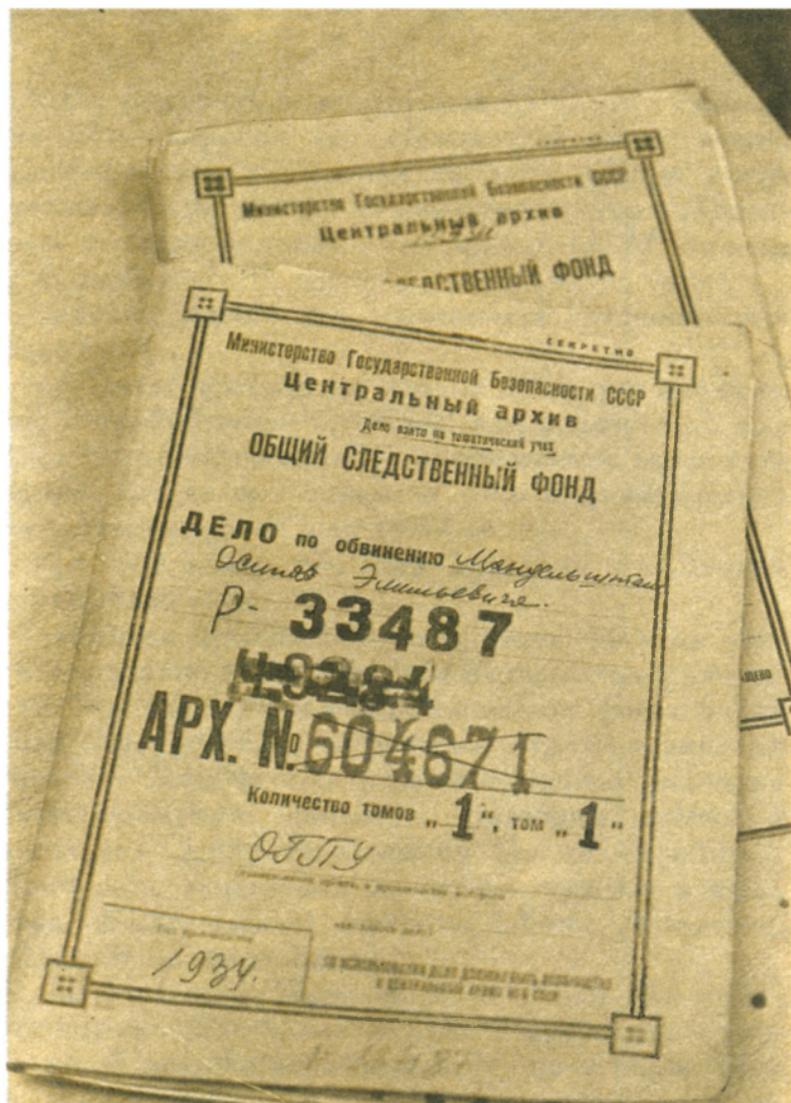
\* \* \*

Передо мной — бесценные документы. Без малого шестьдесят лет хранилась и охранялась эта зловещая папка в серой обложке под грифом «секретно» — «Дело № 4108 по обвинению гр. Мандельштам О. Э. Начато 17.V.—1934 г.». Заглянув в эту папку, как в подвальную лабораторию убийц, можно не только узнать тайное, но и перепроверить общеизвестное.

«〈...〉 Внезапно около часа ночи раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук. «Это за Осей», — сказала я и пошла открывать.

За дверью стояли мужчины, — мне показалось, что их много, — все в штатских пальто.

〈...〉 Они с неслыханной ловкостью и быстротой проникли, отстранив, но не толкнув меня, в переднюю, и квартира наполнилась людьми. Уже проверяли документы и привычным, точным и хорошо разработанным движением гладили нас по бедрам, прощупывая карманы, чтобы проверить, не припрятано ли оружие.



Пусть не смущают читателей инвентарные и архивные номера на обложке. Внутри папки — «Дело № 4108»



---

Из большой комнаты вышел О. М. «Вы за мной?» — спросил он. Невысокий агент, почти улыбнувшись, посмотрел на него: «Ваши документы». О. М. вынул из кармана паспорт. Проверив, чекист предъявил ему ордер. О. М. прочел и кивнул.

На их языке это называлось «ночная операция». <...>

В наши притихшие, нищие дома они входили как в разбойничьи притоны, как в хазу <...> где <...> собираются оказать вооруженное сопротивление. К нам они вошли в ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая 1934 года».

В этот вечер как раз приехала из Ленинграда Ахматова.

«Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной, у Кирсанова, играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел «Волка» («За гремучую доблесть грядущих веков...») и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в семь утра. Было совсем светло» (Анна Ахматова. «Листки из дневника»).

И Надежда Яковлевна, и Анна Андреевна, видимо, ошиблись в дате. Немолодые одногодки. Ахматова вспоминала эту ночь более двух десятилетий спустя, ей было под семьдесят, за это время произошло столько трагических событий. Надежда Мандельштам взялась за перо еще позднее. Вслед за ними дату ареста — в

---

ночь с 13 на 14 мая — повторяют все исследователи.

Открываем папку. Орфографию следователей сохраняю. Позволю себе для краткости лишь некоторые купюры.

Лист дела 1. «**Ордер № 512**» выдан 16 мая 1934 года «**сотруднику Оперативного Отдела ОГПУ тов. Герасимову на производство Ареста-обыска Мандельштам Осипа Эмильевича**». Сколько здесь устрашающих заглавных букв! Справа, внизу, — малоразборчивая размашистая роспись красным жирным карандашом. Ясно выделяется лишь первая буква — Я. Надежда Яковлевна и Ахматова считали, что это подпись Ягоды. Однако при внимательном рассмотрении выяснилось, что расписался Я. Агранов, «**Зам. Председателя ОГПУ**».

Лист дела 2. Протокол обыска-ареста от 16 мая. Изъяты «**письма, записки с телефонами и адресами и рукописи на отдельных листах в количестве 48 /сорок восемь/ листов**».

Обыск производил комиссар Оперода Герасимов, Вепринцев, Забловский».

Арестованного отвозят на Лубянку. Что взял с собой поэт?

«**Управление делами ОГПУ. Комендатура. 16/V—1934. Квитанция № 1404.**

**Принято <...> Восемь шт. воротничков, галстук, три запонки, мыльница, ремешок, щеточка, семь шт. разных книг**».

Отдельная квитанция на деньги — 30 рублей.

С. С. С. Р.

Единое Государственное Политическое Управление

**ОРДЕР № 512**

Мая 16

1938 г.

Выдан сотруднику Оперативного Отдела ОГПУ

Геращенко  
Производство Ареста - обиска

Кандидатом Осипа Зиничева

адресу: Нацкинемский пер д. 5 кв. 16.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все должностные лица и граждане обязаны оказывать  
та имя которого выписан ордер, полное содействие для успешного  
ления.

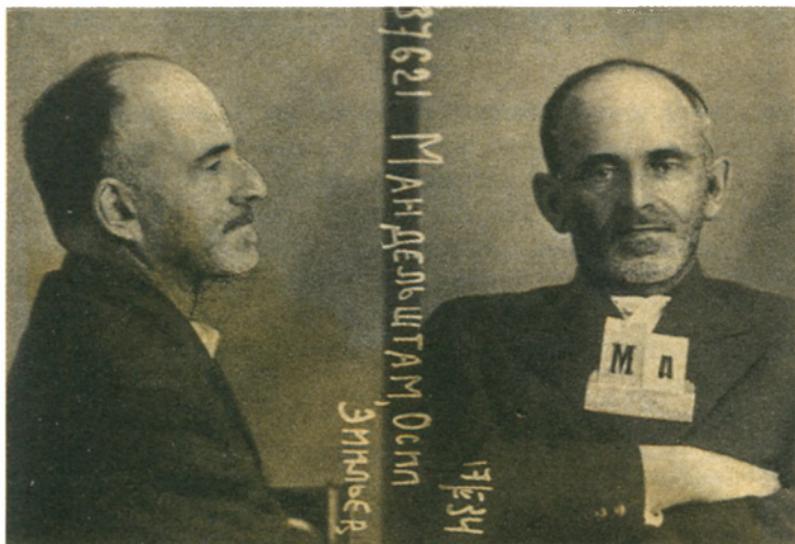
Зам. Председателя ОГПУ

Начальник Оперативного Отдела

вка

309





**Осип Эмильевич Мандельштам.**

Снимок сделан 17 мая 1934 года в Лубянской тюрьме,  
на второй день пребывания



---

Явление Христа — Лубянке: семь книг, восемь воротничков... Галстук отобрали, ремень — понятно: орудия самоубийства. Но книги-то, среди которых был Данте! Их Мандельштам сдал сам, — ему сказали, что книги, побывавшие в камере, на волю больше не выпускаются, их отправляют в тюремную библиотеку.

В этот день Мандельштам собственной рукой заполнил «Анкету арестованного». Пункт 21 — состояние здоровья: «Здоров: сердце несколько возбуждено и ослаблено». Пункт 22 — кем и когда арестован: «ОГПУ 16 мая 1934 г.».

16-го — судя по документам.

\* \* \*

Документы «Дела № 4108» я буду сопоставлять с воспоминаниями Надежды Мандельштам.

Тюремных пыток, о которых она пишет, не было. Никакую едкую жидкость в глазок двери не пускали. Не крутили и пластинок «с голосами липовой жены, матери». Это — его галлюцинации. Лубянским дознавателям не было нужды тратиться на пытки, потому что поэт, подавленный, растерянный, оказался «легкой добычей» и на первом же допросе рассказал все. Еще до показаний, заполняя протокол допроса, он добросовестно вспоминал себя шестнадцатилетнего и на пункт № 11 об общественной и революционной работе наивно ответил: «В 1907 г. примыкал к партии с. р., вел кружок в качестве пропагандиста (...)». Это вменили ему в вину и в 34-м, и в 37-м.

---

\* \* \*

Допрос начался через день после ареста, 18 мая.

Два первых вопроса — разминка. Бывали ли за границей? С каких пор занимаетесь литературой?

Вопрос третий: «Признаете ли вы себя виновным в сочинении произведений контрреволюционного характера?»

— Да, я являюсь автором следующего стихотворения контрреволюционного характера.

Далее — текст стихотворения о Сталине. По протоколам допросов выходит, что Мандельштам сам вызвался написать текст собственной рукой. На самом же деле у следователя стихи были.

Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны,  
Только слышно кремлевского горца —  
Душегуба и мужикоборца.

Мандельштам поправил: это первый вариант — и подсказал 3-ю и 4-ю строки:

А где хватит на полразговорца,  
Там припомнят кремлевского горца.

Следователь записал стихотворение в протокол и предложил сделать это же Мандельштаму на отдельном листке.

Надежда Яковлевна не помнит фамилию следователя, называет его «Христофорыч». Теперь мы можем познакомиться с ним — оперуполно-

---

моченный 4-го отделения СПО ОГПУ Николай Христофорович Шиваров, специалист по писателям (он вел дело поэта Николая Клюева, давал «заключение» на творчество писателя Андрея Платонова, одним словом — спец). «Крупный человек с почти актерскими — по Малому театру — назойливыми и резкими интонациями, он <...> не говорил, а внушал и подчеркивал. Все его предложения звучали мрачно и угрожающе.

<...> Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный — ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого. <...> Держался он, как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. <...> И я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом. <...> Они <...> умеют когтить очередную жертву, пойманную в капкан».

Особой изобретательности Шиваров не проявлял: намекал на арест родных, угрожал расстрелом — обычные «кошки-мышки». Делал он это не без удовольствия.

— Для поэта полезно ощущение страха, оно способствует возникновению стихов, — говорил следователь Мандельштаму, — и вы получите полную меру этого стимулирующего чувства.

Следователь-сноб, щеголявший знакомствами и осведомленностью, оказался все же дикарем в поэзии: переписывая под диктовку поэта вариант стиха, вписал вместо «припомнят» — «при-

---

поминают кремлевского горца», смяв и ритм, и размер.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,  
И слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища,  
И сияют его голенища.

Следователь назвал это сочинение террористическим актом, признался, что подобного «документа» ему не приходилось видеть никогда.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,  
Он играет услугами полулюдей.

Это не только и не просто о Сталине. Поэт лишает возможности кого бы то ни было защитить себя, отсекает все пути. Даже после смертельного выстрела в рот остается больше шансов выжить, чем после этих строк.

**В о п р о с :** Кому вы читали или давали в списках это стихотворение.

**О т в е т :** В списках я не давал, но читал следующим лицам: своей жене; своему брату Александру Е. МАНДЕЛЬШТАМУ; брату моей жены — Евгению Яковлевичу ХАЗИНУ — литератору, автору детских книг; подруге моей жены Эмме Григорьевне ГЕРШТЕЙН — сотруднице секции научных работников ВЦСПС; Анне АХМАТОВОЙ — писательнице; ее сыну — Льву ГУМИЛЕВУ; литератору БРОДСКОМУ Давиду Григорьевичу; сотр. зоол. музея КУЗИНУ Борису Сергеевичу.

---

**В о п р о с :** Когда это стихотворение было написано?

**О т в е т :** В ноябре 1933 года».

Христофорыч, выказывая слабость к литературе и подчеркивая, что ему прекрасно известно окружение Мандельштама, кто именно и когда бывал у него в доме, «выуживал по одному» имена. Об этом свидетельствует протокол следующего допроса, на второй день, 19 мая.

«В дополнение к предыдущим показаниям должен добавить, что в числе лиц, которым я читал названное выше контрреволюционное стихотворение принадлежит и молодая поэтесса Мария Сергеевна ПЕТРОВЫХ. ПЕТРОВЫХ записала это стихотворение с голоса обещая правда, впоследствии уничтожить».

Странный подследственный подписывал протоколы, даже не перечитывая их. Следовательно и поэт возвращаются к вчерашней беседе, и Мандельштам зачеркивает Бродского, «как показание не соответствующее действительности и ошибочно данное при моем вчерашнем допросе».

Тут же, впритык, еще одно «дополнение».

«〈...〉 К./р. произведение я читал также и НАРБУТУ В. И. 〈...〉».

\* \* \*

Допросы по ночам (их было три), яркий режущий свет в камере (веки оказались воспалены до конца жизни)—общая система, можно сказать, рядовое тюремное явление. Истинные

---

жестокости и пытки войдут в норму чуть позже, с 37-го.

Содержался поэт в «двухместной одиночке» и вдвоем, и один: и то, и другое расшатывало психику. Сосед «консультировал», не давая отдохнуть, страшал обвинениями в заговоре и терроре, сообщал об аресте родных. Осип Эмильевич в ответ осведомлялся: «Отчего у вас чистые ногти?» Однажды сосед вернулся «после допроса», и Мандельштам заметил ему, что от него пахнет луком. Соседа пришлось перевести.

Оставшись в одиночестве, он рикошетом — от стены к стене — метался по камере.

По словам Надежды Яковлевны, на вопрос следователя, что послужило стимулом к написанию стихотворения о Сталине, Мандельштам ответил: «Больше всего мне ненавистен фашизм». Сильно сомневаюсь. Христофорыч обязательно занес бы это в протокол. Нет нужды делать из поэта героя, он и без того, при всей растерянности и жалкости, отвечал на вопросы вполне достойно.

Из протокола допроса от 25/V 1934 года:

**В о п р о с :** Как складывались и как развивались ваши политические воззрения?

**О т в е т :** <...> В 1907 г. я уже работал в качестве пропагандиста в эсеровском рабочем кружке и проводил рабочие летучки. К 1908 году я начинаю увлекаться анархизмом. <...>

Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно. На советское правительство смотрю как на правительство захватчиков и это нахо-

---

дит свое выражение в моем, опубликованном в «Воле народа» стихотворении «Керенский». В этом стихотворении обнаруживается рецидив эсеровщины: я идеализирую КЕРЕНСКОГО, называя его птенцом Петра, а ЛЕНИНА называю временщиком.

Примерно через месяц я делаю резкий поворот к советским делам и людям, что находит выражение в моем включении в работе Наркомпроса по созданию новой школы.

С конца 1918 года наступает политическая депрессия вызванная крутыми методами осуществления диктатуры пролетариата. К этому времени я переезжаю в Киев, после занятия которого белыми я переезжаю в Феодосию. Здесь, в 1920 году, после ареста меня белыми предо мною встает проблема выбора: эмиграция или Советская Россия и я выбираю Советскую Россию. При чем стимулом бегства из Феодосии было резкое отращение к белогвардейщине.

По возвращении в Советскую Россию, я врастаю в советскую действительность первоначально через литературный быт, а впоследствии — непосредственной работой: редакционно-издательской и собственно-литературной. Для моего политического и социального сознания становится характерным возрастающее доверие к политике Коммунистической партии и советской власти.

В 1927 году это доверие колебалось неслишком глубокими, но достаточно горячими симпатиями к троцкизму и вновь оно было восстановлено в 1928 году.

---

**К 1930 г. в моем политическом сознании и социальном самочувствии наступает большая депрессия. Социальной подоплекой этой депрессии является ликвидация кулачества как класса. Мое восприятие этого процесса выражено в моем стихотворении «Холодная весна»— 〈...〉 написанное летом 1932 г. после моего возвращения из Крыма. К этому времени у меня возникает чувство социальной загнанности, которое усугубляется и обостряется рядом столкновений личного и общественно-политического порядка. 〈...〉**

**«Холодная весна» прилагается к протоколу:**

.....  
Природа своего не узнает лица,  
И тени страшные Украины и Кубани —  
На войлочной земле голодные крестьяне  
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Разговор возвращается к главному, к строкам о Сталине.

**В о п р о с :** Когда этот пасквиль был написан 〈...〉?

**О т в е т :** 〈...〉 В ноябре 1933 года.

**В о п р о с :** Как реагировали на прочтение им этого пасквиля названные вами лица.

**О т в е т :** КУЗИН Б. С. отметил, что эта вещь является наиболее полнокровной из всех моих вещей, которые я ему читал за последний 1933 год.

**ХАЗИН Е. Я.** отметил вульгаризацию темы и неправильное толкование личности как доминанты исторического процесса.

---

**Александр МАНДЕЛЬШТАМ** не высказываясь укоризненно покачал головой.

**ГЕРШТЕЙН Э. Г.** похвалила стихотворение за его поэтические достоинства. Насколько я помню, развернутого обсуждения темы не было.

**НАРБУТ В. И.** сказал мне: «Этого не было», что должно было означать, что я не должен никому говорить о том, что я ему читал этот пасквиль.

**ПЕТРОВЫХ** — как я сказал — записала этот пасквиль с голоса и похвалила вещь за высокие поэтические качества.

**Лев ГУМИЛЕВ** — одобрил вещь неопределенно-эмоциональным выражением, вроде «здорово», но его оценка сливалась с оценкой ее его матери **Анны Ахматовой** в присутствии которой эту вещь ему была зачитана.

**В о п р о с :** Как реагировала **Анна АХМАТОВА**, при прочтении ей этого контрреволюционного пасквиля и как она его оценила?

**О т в е т :** Со свойственной ей лаконичностью и поэтической зоркостью **Анна АХМАТОВА** указала на «монументально-лубочный и вырубленный характер» этой вещи». <...>

**В о п р о с :** Выражает ли ваш контрреволюционный пасквиль «Мы живем» только ваше, **Мандельштама**, восприятие и отношение или он выражает восприятие и отношение определенной какой либо социальной группы?

**О т в е т :** Написанный мною пасквиль «Мы живем» — документ не личного восприятия и отношения, а документ восприятия и отношения

---

**определенной социальной группы, а именно части старой интеллигенции, считающей себя носительницей и передатчицей в наше время ценностей прежних культур. <...>»**

**В заключение поэт отвечает прямо, что «плакатная выразительность пасквиля <...> делает его широко применимым орудием контрреволюционной борьбы, которое может быть использовано любой социальной группой».**

Мандельштам назвал девятерых, о которых сам следователь был прекрасно осведомлен. Кроме них стихи о Сталине слышали еще семь-восемь человек, но Христофорыч не назвал их, и Мандельштам промолчал. Остались не упомянутыми, например, Пастернак и Шкловский. Во время свидания Осип перечислил Надежде имена всех девятерых, чтобы она предупредила их. Льву Гумилеву во время следствия читали показания Мандельштама о нем и матери, он назвал их безупречными.

25 мая выносится обвинительное заключение.

26 мая, в первой половине дня, Особое Сове­ щание выносит постановление — три года ссылки в Чердынь.

А 27 мая, ничего не говоря о приговоре, поэта знакомят пока лишь с обвинительным заключением.

**«Поскольку других обвинений в какой бы то ни было формулировке мне мне (дважды — видимо, от волнения.— Авт.) не было предъявлено считаю следствие, не зная за собой другой вины, правильным. О. Мандельштам».**

Мандельштам был выслан

Выписка из протокола

Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 26 мая 1934 г.

СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

Б. Дело № 4106 по обвин. гр. МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмилевича по 58/10 ст.УК

МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмилевича выслать в г. Чердынь сроком на три года, считая срок с 16/5-34г. Дело сдать в архив.



*Handwritten signature*

Секретарь Коллегии ОГПУ

отверждения и...  
...перев...



29/4108/0

от 20/5-34 г. по делу № 4108 -  
МАНДЕЛЫТАМ Осипа Смилевича,  
вместе с личностью осужденного.

176  
18

С. С. С. Р.

Тов. \_\_\_\_\_

Внутреннее Государственное  
Следственное Управление

в - Политический Отдел

### Служебная записка

*34*

МАЯ 1934 - 1934 г.

УСС ОГПУ - тов. ЗУБИКИНУ.

№ 957968

г. МОСКВА

*[Handwritten signature]*

Осужденного Особым Совецанием при Коллегии ОГПУ  
от 26 мая с.г. гр-на МАНДЕЛЫТАМ Осипа Смилевича к  
высылке в гор. Чердынь, направьте к месту назначения  
спецконвоем не позже 28/5-с.г. *Зав. спец. с*  
*Медаль и ва. Спец. Вещи*  
НАЧ СПО ОГПУ: *Р. Молчанов* / Д. Молчанов/



С. С. С. Р.  
Ведомое Государственное  
Судебное Управление

И - Политический Отдел

МАР 1934

№ 157868

г. МОСКВА

Тов. В. Срогмо 83

Служебная записка

УСО ОГПУ /2 отделение/.

Просьба отправить, вместе с направляемым след.  
конвоем в ссылку МАНДЕЛЫТАМА жену его МАНДЕЛЫТА  
Надежду Яковлевну.

ПОМ НАЧ СПО ОГПУ:

*М. Горь* /ГОРЬ/



---

Далее — служебные записки.

**«Коменданту ОГПУ.**

**Просьба выделить спецконвой на 28/V—с. г. для сопровождения в гор. Чердынь, в распоряжение Чердынского райотделения ОГПУ, осужденного Мандельштам Осипа Эмильевича, содержащегося во Внутреннем изоляторе ОГПУ.**

**Исполнение сообщите.**

**Основание: распор. секретаря Колл. ОГПУ г. Буланова. <...>**

**ПОМ. НАЧ. УСО ОГПУ Зубкин.**

**ПОМ. НАЧ. 2 ОТД. Мишустин.**

**27/V—34 г.».**

**«СССР. ОГПУ. Секретно — Политический отдел 28 мая 1934 г.**

**Тов. В. Срочно. УСО ОГПУ (2 отделение).**

**Просьба отправить вместе с направляемым спецконвоем в ссылку Мандельштама жену его Мандельштам Надежду Яковлевну.**

**ПОМ. НАЧ. СПО ОГПУ: ГОРБ».**

**Наконец, прелюбопытнейший документ — символ времени:**

**«НАЧ. ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОТДЕЛЕНИЯ ОГПУ г. Чердынь.**

**Копия: НАЧ. УСО ПП ОГПУ СВЕРДЛ. ОБЛ. г. Свердловск.**

**Препровождается выписка из протокола Особ. Сов. при Колл. ОГПУ от 26/V—34 г. по делу № 4108 — МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмильевича, вместе с личностью осужденного, следующего спецконвоем в ваше распоряжение,**

---

для отбывания высылки. Прибытие подтвердите». Те же — Зубкин и Мишустин.

Заметили? Препровождается не осужденный, а «выписка из протокола... вместе с личностью осужденного». То есть — важная бумага, а при ней — маленькая букашка: человек.

По дороге на вокзал Надежда зашла на Лубянку. По лестнице спустился следователь, в руках — чемоданчик Осипа.

— Едете?..

— Еду.

Это он, Христофорыч, предложил ей сопровождать мужа к месту ссылки. Теперь, прощаясь, она, благодарная, протянула ему руку. Христофорыч своей руки не подал.

\* \* \*

Но не странно ли? Всего 12 дней пребывания в тюрьме, а поэту разрешают свидание с женой. Уже жене, как в добрые царские времена, разрешают поехать с мужем в ссылку. Она заезжает за мужем на Лубянку. Вежливый провожатый-блондин на перроне берет под козырек. Все гладко и даже красиво.

Ни о чем не просите, ничем о себе не напоминайте, растворитесь, притворитесь покойником. Чтобы ни одной новой бумажки с вашим именем — предупреждали друзья в Москве. «Бородатые мужики» в Чердыни подтвердили: «Никаких телеграмм. Ответа здесь не получал еще никто». Но она, Надежда, все — наоборот, на-

Иван  
Иван  
28/34  
28/34

30

В ОМУ

Александра Филипповича  
Мандельштама

Заявление

28/34 по приговору ОМУ брат мой  
О.З. Мандельштам был выслан на  
3 года в Тердынь. Жена брата Н.В. Мандель-  
штам, сопровождающая брата в ссылке  
сообщила Генералом из Тердыни, что  
брат психически заболел, бредит,  
галлюцинирует, вырвался из окна  
второго этажа и т.д. на месте в Тердыни  
необходимая помощь не оказана (мед-  
персонал - молодой Тердынь и акушер).  
Предлагается перевод в Пермскую пси-  
хиатрическую больницу, где по существу  
можно будет дать отрицательные результаты  
Третьей комиссии брата и при  
уверждении психического заболе-  
ния, перевести его в город где он  
был бы обеспечен квалифицированной  
медицинской помощью вне вынужденной  
ссылки близ Москвы, Ленинграда или  
Новосибирска.

А. Мандельштаму

Лоре. Мандельштам, Старосадские 10 кв?



---

стойчиво требует психиатрическую экспертизу, шлет телеграммы в Москву — в ЦК, брату Осипа.

И что же? Новая странность.

Лист дела 31.

**«МЕМОРАНДУМ.**

**В СВЕРДЛОВСК ПП ОГПУ САМОЙЛОВУ.**

**НЕМЕДЛЕННО ЭКСПЕРТИЗОЙ ПСИХИАТРОВ ПРОВЕРЬТЕ ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСЛАННОГО В ЧЕРДЫНЬ МАНДЕЛЬШТАМА ОСИПА ЭМИЛЬЕВИЧА. РЕЗУЛЬТАТ ТЕЛЕГРАФЬТЕ. ОКАЖИТЕ СОДЕЙСТВИЕ В ЛЕЧЕНИИ И РАБОТЕ. № 9352 МОЛЧАНОВ. 5.VI—34 г.».**

Лист дела...

**«В ОГПУ.**

**Александра Эмильевича Мандельштама  
Заявление.**

**28/V по приговору ОГПУ брат мой О. Э. Мандельштам был выслан на 3 года в Чердынь. Жена брата Н. Я. Мандельштам, сопровождавшая брата в ссылке, сообщила телеграммой из Чердыни, что брат психически заболел, бредит, галлюционирует, выбросился из окна второго этажа и что на месте в Чердыни медицинская помощь не обеспечена (медперсонал — молодой терапевт и акушер). Предполагается перевод в Пермскую психиатрическую больницу, что по общению жены может дать отрицательные результаты. Прошу освидетельствовать брата и при подтверждении психического заболевания,**

---

---

перевести его в город, где может быть обеспечен квалифицированный медицинский уход вне больничной обстановки близ Москвы, Ленинграда или Свердловска.

6/VI—34 г.

А. Мандельштам.

Адрес. Москва, Старосадский 10 кв 3».

В Свердловск через три дня летит очередной меморандум:

**«ПП ОГПУ САМОЙЛОВУ.**

**В ДОПОЛНЕНИЕ № 9352 НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕВЕДИТЕ МАНДЕЛЬШТАМА В СВЕРДЛОВСК, ПОМЕСТИТЕ В БОЛЬНИЦУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. РЕЗУЛЬТАТ ТЕЛЕГРАФЬТЕ. № 9370 МОЛЧАНОВ. 9/VI—34 г.».**

Уже не просто забота о ссыльном преступнике, но — тревога за его здоровье.

Все просто. Действовала сталинская резолюция: **«Изолировать, но сохранить».**

Слишком большая волна поднялась после ареста поэта. Ахматова добилась приема у Енукидзе. Пастернак кинулся к Бухарину. Бухарин написал Сталину, отметив: «И Пастернак тоже волнуется». Сталин позвонил Пастернаку. Наконец Сталин ответил Бухарину: с Мандельштамом будет все в порядке.

Надя не отпустила Осипа в Свердловск. «Злая врачиха» в больнице доверительно посоветовала никуда не отправлять мужа: *«Там его загубят».* — *«А болезнь?»* — *«Это у них проходит. Они все такие приезжают...»*

---

После больницы Мандельштам, худой, обросший, невменяемый, с переломанным плечом, бродил по окрестным оврагам Чердыни и искал труп Ахматовой.

Лист дела 32.

**«Выписка из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 10 июня 1934 г.**

**Слушали: Пересмотр дела № 4108. <...>**

**Постановили: Во изменение прежнего постановления — Мандельштам Осипа Эмильевича лишить права проживания в Московской, Ленинградской обл., Харькове, Киеве, Одессе, Ростове н/Д, Пятигорске, Минске, Тифлисе, Баку, Хабаровске и Свердловске на оставшийся срок».**

Между первым и вторым приговорами ОСО прошло всего полмесяца.

Осип и Надежда выбрали Воронеж.

## Глава 5

**Вождю** было невыгодно убивать поэта. Мертвый, он стал бы опаснее. Стихи казненного звучат сильнее. **Вождю** выгоднее было подчинить поэта, заставить поклониться.

Да, **Мандельштам** написал потом посвящение Сталину. Слабенькое, старался, мучился — лучше не смог.

Попытка насилия над собой не удалась. «План Сталина потерпел полный крах,— пишет критик, литературовед **Бенедикт Сарнов** в своей книге «Заложник вечности».— Потому что такие стихи мог написать **Лебедев-Кумач**. Или **Долматовский**. Или **Ошанин**. Кто угодно! Чтобы написать такие стихи, не надо было быть **Мандельштамом**».

Сталин смял его как человека, но убить в нем Поэта не смог. Поэт сам дал оценку своему опусу:

— Я теперь понимаю, что это была болезнь.

Почему же другие, многие, почти все, даже **Пастернак**, так удачно и легко вставляли в сти-

---

хотворную строку имя Сталина? Не знали его? Почему же этот полуюродивый, дальше всех от земли и ближе всех к небу, почему он — знал?

Принято считать, что единственное стихотворение погубило Мандельштама. Можно, конечно, пойти на костер и за единственное, если оно стало итогом жизни, невероятным последним взлетом. Но обличительный стих, как и хвалебный, — также невысокой пробы, здесь также не нужно быть Мандельштамом, чтобы написать его, в нем нет ни одного слова из тех, что знал только он один. Это не стихотворение, а скорее любовная эпиграмма. Последняя строка грубо приколочена.

Что ни казнь у него, — то малина  
И широкая грудь осетина.

«Что ни казнь» и «грудь» в подбор — даже неграмотно.

Но вот поступок — да, жертвенный! Тут нужно быть именно Мандельштамом, никто бы более не посмел.

Думать, что единственная, лишь однажды, несдержанность чувств привела его на эшафот — слишком прискорбно и несправедливо. Это упрощает и принижает поэта, низводит его до нечаянного литературного озорника.

Да, судили за стихотворение, но он шел к нему давно и напрямик и на пути мог сложить голову гораздо раньше. Когда, например, в 1918 году схватился с Блюмкиным и, спасая от расправы незнакомого ему искусствоведа, отправился

---

---

с Ларисой Рейснер к Дзержинскому. Или когда в 1928-м, случайно узнав о предстоящем расстреле пятерых стариков — банковских служащих, метался по Москве, требуя отмены приговора. Явился к Бухарину. Приговор в конце концов отменили, и Николай Иванович счел долгом известить об этом поэта телеграммой в Ялту.

Что касается собственно стихов, то были и другие, за которые грозила кара, многие из них пришлось тщательно прятать, некоторые в итоге бесследно затерялись. Стихотворение «Ленинград», написанное в декабре 1930 года, по чьему-то головотяпству напечатала «Литературная газета». Уже тогда Мандельштаму пригрозили арестом.

Петербург, я еще не хочу умирать:  
У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,  
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок  
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,  
Шевеля кандалами цепочек дверных.

И антисталинские стихотворные строки — не единственные. Куда опаснее эти, из «Четвертой прозы».

«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворован-

---

ный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю. <...>

Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей — ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать — в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед».

Дата написания — где-то 1930—1931 годы.

Антисталинского стихотворения не могло не быть.

Он еще слишком долго жил, этот независимый человек, он должен был погибнуть гораздо раньше.

— Вы сами себя берете за руку и ведете на казнь,— сказал ему поэт Перец Маркиш.

\* \* \*

Менее всего, наверное, были готовы к революции и гражданской войне поэты, небожители.

Мне уже приходилось говорить о судьбах русской интеллигенции того трагического времени. Напомню.

В ту пору, когда спешно эвакуировалось, бежало целое государство со своими министрами, дипломатами, армией, с кадетскими школами, гимназиями, монастырями,— могла ли интеллигенция не растеряться? Предчувствовала ли будущее?

---

Е. Замятин писал в 1921 году:

«Чтобы жить, — жить так, как пять лет назад жил студент на 40 рублей — Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре «Ревизора», Тургеневу каждые два месяца по трое «Отцов и детей», Чехову — в месяц по сотне рассказов...

Но даже и не в этом главное: голодать русские писатели привыкли. Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики...

Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать... Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое».

Статья так и называлась — «Я боюсь».

Годы шли, предчувствия подтверждались. В 1929 году Замятин пишет: «Мы имеем сначала осуждение, а затем назначение следствия. Я думаю, что ни один суд на свете не слышал о таком образе действий. <...>

Принадлежность к литературной организации, которая хотя бы косвенно принимает участие в преследовании своего сочлена, — невозможна для меня, и настоящим я заявляю о своем выходе из Всероссийского Союза Писателей».

В 1931 году Замятин написал Сталину, его поддержал Горький, и писатель уехал в Париж.

А из них, писателей, кто-нибудь возвращался? Конечно. Сразу после Февральской рево-

---

люции поспешил уехать Гумилев. В Париже влюбляется, пишет даме стихи в альбом. Сделав ей предложение и получив отказ, поэт, несмотря на предупреждения друзей, через Лондон и Мурманск возвращается в Россию, уже советскую. В августе 1921 года был расстрелян.

Возвращается, опять же несмотря на предупреждения друзей, Пильняк. Расстрелян. По делу Пильняка был вызван в НКВД как свидетель партийный работник Гронский (впоследствии — главный редактор «Известий»), он совершил поступок на грани самопожертвования: не сказал о Пильняке ни единого худого слова. (Сын Пильняка пытался в наши дни посмотреть следственное дело отца. Но ему показали лишь выписки из реабилитационного дела, сообщили точную дату гибели: 21 апреля 1938 года.)

После одной из очередных поездок за границу вернулся Бабель. Расстрелян.

Вернулась Цветаева...

Это все — Имена! А сколько было тех, кто незаметнее.

Дмитрий Святополк-Мирский, сын бывшего министра внутренних дел, в эмиграции увлекся работами Ленина, Маркса, в 1920 году вступил в Компартию Великобритании, а потом вернулся в СССР помогать строить социализм. В 1934 году принят в Союз писателей (членский билет № 590). Был арестован и отправлен на Колыму. Работал в котельной и писал работу по теории стихосложения. Там же, на Колыме, умер в 1939 году. Восстановлен в Союзе писателей в 1964-м.

---

Прозаик Георгий Венус вернулся в Россию в середине 20-х годов. В 1934-м был принят в Союз писателей и почти сразу после убийства Кирова арестован. Во время следствия его били в Сызранской тюрьме, открылась чахотка, он умер. Восстановлен в Союзе писателей в 1956-м.

Вернулся и был расстрелян литератор А. Бобрищев-Пушкин. Вернулись и погибли прозаик Анатолий Каменский, публицист Юрий Ключников; поэт, один из идеологов сменовеховцев Юрий Потехин. Не за ним ли потянулись другие сменовеховцы? Их вернулось и было уничтожено около двадцати человек.

Об этих судьбах рассказал мне журналист Эдуард Белтов, который еще пятнадцать лет назад поставил перед собой цель: восстановить имена всех уничтоженных литераторов.

Доносилось ли эхо расстрелов туда, на Запад, знала ли, догадывалась ли эмиграция о судьбе соотечественников, вернувшихся на Родину?

Не могла не знать. Скрыть массовую гибель невозможно.

«В известном смысле историю русской литературы можно назвать историей уничтожения русских писателей,— отмечал в своих исследованиях один из видных представителей растерзанного «серебряного века» поэт Владислав Ходасевич.—〈...〉 Побои, солдатчина, тюрьма, ссылка, изгнание, каторга, пуля, 〈...〉 эшафот и петля — вот краткий перечень лавров, венчающих «чело» русского писателя. 〈...〉 Вслед за Тредьяковским — Радищев; «вслед Радищеву» — Капнист,

---

---

Николай Тургенев, Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, Одоевский, Полежаев, Боратынский, Пушкин, Лермонтов, Чаадаев, <...> Огарев, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Достоевский, Короленко...

<...> Но это — только «бичи и железы», воздействия слишком сильные, прямо палаческие. А сколько же было тайных, более мягких и даже вежливых? Разве над всеми поголовно не измывались цензоры всех эпох и мастей? Разве любимых творений не коверкали, дорогих сердцу книг не сжигали? Разве жандармы и чекисты не таскали к допросу и не сажали в каталажку, чуть не по очереди, без разбору, за то именно, что — писатель? <...>

В русской литературе трудно найти счастливых; несчастных — вот кого слишком довольны. <...> Только из числа моих знакомых, их тех, кого знал я лично, чьи руки жал,— одиннадцать человек кончили самоубийством».

Выводы о причинах «изничтожения русских писателей» во все века Ходасевич делает несколько неожиданные: «И однако же, это не к стыду нашему, а может быть даже к гордости. Это потому, что ни одна литература <...> не была так пророчесвенна, как русская. <...> Дело пророков — пророчествовать, дело народов — побивать их камнями. <...> Кажется, в страдании пророков народ мистически изживает собственное свое страдание».

Не знаю, думаю все же, казни совершались не народом, а от его имени. И уж по крайней

---

мере в нашем веке казнили не только и не столько пророков, сколько проповедников, официальных трубадуров и проповедников новой жизни. Вот вам еще имена, названные Эдуардом Белтовым в газете «Вечерняя Москва»:

«Еще под следствием, не выдержав мучений, умер в тюрьме поэт Авенир Ноздрин — ПЕРВЫЙ председатель ПЕРВОГО в России Совета рабочих депутатов в 1905 году;

в лагункте Атка на Колыме умер от голода поэт Василий Князев, тот самый, что написал строчки, так нравившиеся Ильичу: «Никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами!»;

сгинул безвестно поэт Петр Парфенов-Алтайский, но страна еще долго будет петь его «По долинам и по взгорьям» — партизанский гимн, отданный на растерзание литературным мародерам;

угаснет талантливейший мариец Иван Кырля — поэт и актер, обворожительный Мустафа из «Путевки в жизнь» и один из авторов поэтического сборника «Мы ударники!»;

осиротеет советская литература коми — в тридцать девятом в сыктывкарской тюрьме умрет, не дождавшись суда (суда?), один из ее основоположников Тима Вень, а другой — Виктор Савин продержится в лагере до сорок третьего...»

Малым народам пришлось особенно тяжело. Были уничтожены практически все писатели удмуртские, башкирские, коми. В Марийской Рес-

---

публике была подчистую истреблена вся интеллигенция.

Вершина трагедий. Одним из первых (на рубеже 1955 года) был реабилитирован ленинградский писатель Григорий Сорокин (в 49-м осужден на 8 лет лагерей). Лагерное начальство объявило ему, что он свободен. Пошел в барак за вещами и упал: сердце. Уже в поезде, по дороге домой, скончались Клюев (поэт), Уртенев.

Когда Эдуард Белтов начинал поиски, западные источники указывали общее число погибших советских писателей — 625. На эту цифру он и ориентировался, хотя она казалась ему неправдоподобно большой. Теперь, на сегодня, он установил: в годы репрессий погибло более тысячи (!) литераторов.

Если взять вместе финскую кампанию и Великую Отечественную войну — их, литераторов, погибло куда меньше.

«В настоящей трагедии, — говорил Иосиф Бродский в Нобелевской лекции, — гибнет не герой — гибнет хор».

Есенин, Маяковский, Цветаева... Это — великие. А о других — кто знает, кто печалится? Добычин, талантливый прозаик, ушел с собрания ленинградских писателей, где его нещадно разоблачали (год — 1936-й). С собрания ушел и — никуда не пришел. След исчез.

Зоценко, Ахматова, Платонов, Булгаков, Пастернак... не убиенные, не самоубийцы, но разве не жертвы? Этот список надо было бы начать, может быть, с Блока. Болезнь точила

---

его более года. Луначарский и Горький настойчиво хлопотали о выезде его и Федора Сологуба, тоже больного, на лечение за границу. Выехать разрешили только Сологубу. Луначарский пришел в негодование: Блок — поэт революции, наша гордость! Правительство вывернуло решение наизнанку: Блоку выехать разрешили, а Сологубу — нет. Жена Сологуба в припадке отчаяния бросилась с Тучкова моста в Неву. Не веря в гибель жены, Сологуб к обеду ставил на стол лишний прибор, так длилось семь с половиной месяцев, пока не нашли тело.

А Блок? Разрешение на выезд за границу пришло через час после его смерти.

«Жизнь, переходящая в стихи, уже не жизнь, так крест распятия был уже не деревом». Говорилось об Ахматовой, но, я думаю, касается всего истинного искусства.

\* \* \*

Судьбу поэтов «золотого века», с Пушкиным и Лермонтовым на вершине, мы знаем.

Судьбу поэтов «века серебряного» тоже знаем.

Говорят, в конце пятидесятых мог состояться «бронзовый век». Не мог. Лучшие поэты — мальчики, в мальчиках и остались. Начинали левыми, а стали официальными шалунами, и в годы застоя сумевшими срывать аплодисменты одинаково и на Родине, и за ее пределами. Желая быть народными, ищут связей и знакомств с сильными мира сего, гордятся этими связями и отдыхают на госдачах за неприступными заборами.

---

Они часто смотрятся в зеркало. Поэтому и теперь, когда речь идет об убиенных и затравленных, Пастернаке, Цветаевой или Мандельштаме, — они снова впереди, сытые, преуспевающие вспоминатели, вечные соболезнователи чужим горьким судьбам.

Поэт должен быть хотя бы немного отшельником. Ему должно чего-то не хватать, хотя бы самой малости.

\* \* \*

С наступлением 1937 года возможности уцелеть не осталось. Уже душили страну доносы, уже в полном ходу были коллективные проклятия собратьев по перу, резолюции — «единогласно». Что говорить о чуждом и чужом Мандельштаме, когда топили в крови своих.

**«...Ордер № 2817.**

**Выдан 30 апреля 1938 г. Сержанту Главного Управления Государственной Безопасности НКВД Илюшкину на производство Ареста и обыска Мандельштама Осипа Эмильевича. <...>**

**Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел СССР М. Фриновский».**

Жизнь подошла к логическому концу.

\* \* \*

После воронежской ссылки Мандельштам пытался зацепиться за Москву. Он пришел к генеральному секретарю Союза писателей СССР

---

Владимиру Ставскому, тот был занят и не принял поэта. Из Союза Мандельштам отправился в Литфонд, и там, на лестнице, с ним случился приступ стенокардии. Вызвали «скорую». Потом, позже, из подмосковных прибежищ, из Калининской области — отовсюду, где поэт находил себе временный приют, он наезжал в Москву и пытался попасть на прием к Ставскому.

Да, не принял. Но ведь и не отмахнулся, в конце концов. Ставский адресовал Мандельштама своему заместителю Лахути. Тот, приветливый и внимательный, старался хоть что-то сделать для опального поэта, даже оформил ему командировку от Союза на Беломорканал, умоляя написать хоть какой-нибудь стишок про великую стройку. Лахути хотел организовать творческий вечер поэта. Подключился вроде бы и Ставский, но, видимо, это оказалось выше его власти.

Осип Эмильевич и сам понимал небеспредельность писательской власти и ничего утешительного не ждал. Еще давно, в июне 1937-го, он писал:

«Уважаемый тов. Ставский!

Вынужден вам сообщить, что на запрос о моем здоровье вы получили от аппарата Литфонда неверные сведения. Эти сведения резко противоречат письменным справкам пяти врачей от Литфонда и районной городской амбулатории.

Прилагаю подлинные документы и ставлю вопрос: хочу жить и работать; стоит ли сделать минимум реального для моего восстановления?

Если не теперь — то когда?»

---

Минули лето, осень, зима.

Владимир Петрович вдруг принял Мандельштама — теперь, на пороге весны 1938-го. Он предложил поэту две путевки в дом отдыха «Саматиха» на целых два месяца. «Отсидитесь,— сказал Ставский,— пока не решится вопрос с работой». Милость судьбы! Первая удача за всю московскую жизнь. Не потому ли Ставский и не принимал поэта, что испытывал неловкость, ведь ничего реального предложить прежде не мог?

Фадеева эта новость почему-то расстроила.

— Путевки?.. Куда?.. Кто дал?.. Где это?.. Почему не в писательский дом?

...Это были едва ли не лучшие их дни. Они сами выбрали время отъезда. На станции Черусти, за Шатурой, их, как господ, ждали розвальни с овчиной, лошадки повезли их по скрипучему снегу в двадцатипятиверстный путь. Оказалось, что главврач был предупрежден о приезде, ему велено было создать все условия для отдыха поэта, и он закрыл избу-читальню, чтобы поселить туда прибывших — отдельно от всех, в полном уединении. Главврачу несколько раз звонили из Союза писателей и спрашивали, как поживает Мандельштам.

*«Март стоял холодный, и мы слышали, как в лесу трещат сосны. Лежал глубокий снег, и мы первое время ходили на лыжах».*

Теперь с Союзом писателей, с именем Ставского поэт связывает твердые надежды. Из письма Кузину 10 марта:

---

«Дорогой Борис Сергеевич!

Вчера я схватил бубен из реквизита Дома отдыха и, потрясая им и бия в него, плясал у себя в комнате: так на меня повлияла новая обстановка. <...> В старой русской бане сосновая ванна.

Глушь такая, что хочется определить широту и долготу.

<...> Значит от меня чего-то доброго ждут, верят в меня. Этим я смущен и обрадован. Ставскому я говорил, что буду бороться в поэзии за *музыку живущую*. Во мне небывалое доверие ко всем *подлинным* участникам нашей жизни и волна встречного доверия идет ко мне. Впереди еще очень много корявости и нелепости, — но ничего, ничего, не страшно!»

Весь день 1 мая в доме отдыха шла гуляба.

*«В ту ночь мне приснились иконы. Сон не к добру. Я проснулась в слезах и разбудила О. М. «Чего теперь бояться,— сказал он.— Все плохое уже позади...» И мы снова заснули...»*

Под утро кто-то тихо постучал в дверь. Осип Эмильевич пошел отворять. Вошли двое военных и главврач.

Он одевался, а она в растерянности сидела на кровати. Очнувшись, стала собирать ему вещи. «Что даете так много вещей, — по-домашнему, мягко сказал военный, — думаете, он долго у нас пробудет? Спросят и выпустят...» Военный был миролюбив, однако проводить арестованного до Черустей не разрешил:

— Нельзя.

Р. С. Ф. С. Р.

Телет в Управлении  
Самострижани и Пучеж  
МОВС при МОВС

СПРАВКА

Здравств.



Гов. Мандельштам О.Э. находится на отдыхе в

санатории "САМАРКА" с 2/IV 79 по 6/V включит.

Место: Восточнее  
м. Соловьиный

Заставщик: Холмский





**Надежда Мандельштам**



---

«Во дворе затарахтел грузовик. Я сидела на кровати, не шевелясь. <...>

Мы сошлись с О. М. первого мая 19 года <...>. Мы расстались первого мая 38 года, когда его увели, подталкивая в спину, два солдата. Мы не успели ничего сказать друг другу — нас оборвали на полуслове и нам не дали проститься».

...Надежда Яковлевна дожила до глубокой старости. Всю жизнь она искала ответы на два вопроса: 1. Где, при каких обстоятельствах скончался Осип — умер, погиб, убит? 2. Кто написал на него донос в 1938 году? Почему-то думалось ей, что он был арестован по доносу, и в своем требовательном безответном письме к Берии она просила: «...проверить не было ли чьейнибудь личной заинтересованности...»

Так и скончалась, сравнительно недавно, в неведении.

\* \* \*

Вот — разгадка, сегодня, более полувека спустя.

Листы 13—14 нового «Дела № 19390».

«Союз Советских Писателей СССР — Управление. 16 марта 1938 г. НАРКОМВНУДЕЛ тов. ЕЖОВУ Н. И.

Уважаемый Николай Иванович!

В части писательской среды весьма нервно обсуждался вопрос об Осипе МАНДЕЛЬШТАМЕ.

---

Как известно — за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию Осип МАНДЕЛЬШТАМ был года три-четыре тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами «зоны»).

Но на деле — он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом — литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца» — гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин КАТАЕВ, И. ПРУТ и другие литераторы, выступали остро.

С целью разрядить обстановку — О. Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме.

Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос — об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь.

За последнее время О. Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой ценности они не представляют, — по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними (в частности тов. Павленко, отзыв которого прилагаю при сем).

Министерство Государственной Безопасности СССР  
Центральный архив

ОБЩИЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД

ДЕЛО по обвинению

*Мандельштам  
С. З.*

ИСС. № 124  
12.05.84 4974-55

**АРХ. № 298468**

Количество томов "1", том "1"

*И.К.В.т. А.С. Р13864*

**P13864**

Год архивации

ВНИМАНИЕ! ДЕЛО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УДАЛЕНО ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА МГБ СССР



санство) судимости  
подвергался при Соввласти: судимость, арест и другие (когда  
где арестован, 34 г. сов. и расстр. к  
не родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятий)

суд. Лавриков, Дав Александр Эммануилович  
Дом: д. 10 ш. 5, соф. Кочур, Енисей  
д. 2. 11 ш. 5

Подпись арестованного В. И. Медведева



СССР  
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
Главное Управление Государственной Безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

К ДЕЛУ № \_\_\_\_\_

Мая мес. 17 дня. Я Олея. Фролов. Чотыла О. П. М. М. М.  
(долж., наимен. органа, фамилия)  
г. 26. Шилкин. допросил в качестве \_\_\_\_\_

Фамилия Мандраштан

Имя и отчество Олея Фролович

Дата рождения 1891г.

Место рождения г. Варшава

Местожительство г. Калнин 3<sup>я</sup> Никольна д и 41 (Трапаникова)

нац. и гражд. (подданство) еврей подданство СССР.

Паспорт \_\_\_\_\_

(когда и каким органом выдан, номер, категор. и место приписки)

род занятий писатель

(место службы и должность)

Фамильное происхождение сын Кунца 1<sup>й</sup> Шилкин

(род занятий родителей и их имущественное положение)

Фамильное положение (род занятий и имущественное положение):

о революцион участ и был на итервенту революцион 30/1



---

---

Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме.

С коммунистическим приветом.

**В. СТАВСКИЙ».**

Вот так.

Существовали разные формы изничтожения. Характеристики, подписанные под нажимом. Подпись под общим списком. И прямые персональные доносы. Разоблачительные антиписательские кампании в Москве возглавил именно Ставский вместе с известнейшим автором революционных пьес Вишневским.

Отправка Мандельштама в Дом отдыха была оперативным действием органов — чтобы не утруждать сотрудников безопасности лишней работой по розыску кочевого безночлежного поэта. И звонки из Союза писателей — проверка, на месте ли. Недаром отъезд на отдых был так четко отлажен и изящно обставлен. И Фадеев сокрушался не зря.

Во всем есть взаимосвязь и всюду — и в коммунальной квартире, и во Вселенной. Если уж морские приливы и отливы связаны с фазами Луны, то мирские-то поступки обязательно являются отзвуком чего-то, что случилось в бренном мире — в стране, в соседнем переулке. ...Только что, 13 марта, в четыре часа утра Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР приговорила к расстрелу Николая Ивановича Бухарина.

В непредсказуемое время, при живом, хоть и арестованном Бухарине, да еще при неотме-

---

ненной сталинской резолюции «изолировать, но сохранить», Ставский не осмеливался на донос. Три дня — 13, 14 и 15 марта — ушли на то, чтобы обзвонить писателей и заручиться их поддержкой («по общему мнению товарищей...»). И что же? На коллективное обвинение желающих нашлось бы предостаточно. На персональное же, за личной подписью, согласился лишь один — Павленко. Его письмо, как «общее мнение», Ставский присовокупил к своему доносу.

### **«О СТИХАХ О. МАНДЕЛЬШТАМА**

Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет того самого главного, что на мой взгляд, делает поэзию — нет темперамента, нет веры в свою строку.

Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком.

⟨...⟩ Если бы передо мною был поставлен вопрос — следует ли печатать эти стихи, — я ответил бы — нет, не следует.

**П. ПАВЛЕНКО».**

Читатели еще не старые помнят хрестоматийное произведение Павленко, рекомендованное для изучения в средних школах. Роман назывался — «Счастье». Поколение совсем молодое имело возможность познакомиться с творчеством писателя совсем недавно. На телеэкра-

хороши стихотворения: 1/ "Если б меня наши враги взяли..." (стр. 33), 2/ "Не мучнистой бабочкою белой" (стр. 7), и 3/ "Мир начинается страшен и велик..." (стр. 4).

Есть хорошие строки в "Стихах о Сталине", стихотворении пропикнутом большим чувством, что выделяет его из остальных.

В целом же это стихотворение хуже своих отдельных строф. В нем много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине.

У меня нет под руками прежних стихов Мандельштама, чтобы проверить, как далеко ушел он теперь от них, но - читая - я на память большой разницы между теми и этими не чувствую, что может быть, следует отнести уже ко мне самому, к не любви моей к стихам Мандельштама.

Советские ли это стихи? Да, конечно. Но только в "Стихах о Сталине" мы это чувствуем без обиняков, в остальных же стихах - о советском догадываемся. Если бы передо мною был поставлен вопрос - следует ли печатать эти стихи, - я ответил бы - нет, не следует.

П. ПАВЛЕНКО

ВЕРНО:



---

---

нах показали старый фильм «Падение Берлина» — величальная Сталину, авторы сценария — легендарный приспособленец Чиаурели и Петр Павленко.

Содружество — лакей и стукач воспевают убийцу.

\* \* \*

Составляя зловеший донос, Ставский советовался с НКВД. Донос получился столь удачным, что на его основе разрабатывалась официальная «Справка» НКВД, послужившая сигналом к аресту Мандельштама. Кое-что из доноса вошло в «Справку» дословно:

**«Антисоветские элементы из литераторов используют МАНДЕЛЬШТАМА в целях враждебной агитации, делают из него «страдальца», организуют для него сборы среди писателей».**

НКВД — организация творческая, переписав донос Ставского, старший лейтенант госбезопасности В. Юревич развивает тему дальше: **«Сам МАНДЕЛЬШТАМ лично обходит квартиры литераторов и взывает о помощи».** Но этого мало, чтобы казнить. **«Что еще добавить? По имеющимся сведениям, МАНДЕЛЬШТАМ до настоящего времени сохранил свои антисоветские взгляды».** Уже лучше, уже теплее, но еще не горячо.

И вот — резкий взлет мысли, неожиданный поворот:

**«В силу своей психологической неуравновешенности МАНДЕЛЬШТАМ способен на агрессивные действия».**

---

**Считаю необходимым подвергнуть МАНДЕЛЬШТАМА аресту и изоляции».**

Кто-то из начальства подчеркнул карандашом столь удачную находку. Слева, на полях, в самом низу, чуть наискосок блеклый карандаш: «**Т. ФРИНОВСКИЙ. Прошу санкцию на арест. 27/4**». Подпись неразборчива. Чуть выше уже жирный карандаш: «**Арест согласован с тов. Рогинским. 29/IV.38 г.**». Подпись неразборчива. Еще выше размашистый сочный синий карандаш: «**АРЕСТОВАТЬ. М. ФРИНОВСКИЙ 29.IV.38 г.**».

У каждого личное орудие убийства — у кого карандаш, у кого фломастер, у каждого свой цвет — красный, синий, зеленый, фиолетовый, черный и т. д. — весь спектр.

На доносе Ставского строится и обвинительное заключение следователя Шилкина, сюда перекочевывают целые абзацы доноса. О том, например, что, несмотря на запрет, поэт часто приезжал в Москву, «останавливался у своих знакомых, пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путем нарочитого демонстрирования своего «бедственного» положения». Далее — слово в слово — из «Справки»: об «антисоветских элементах из среды литераторов» и «страдалице».

Вот что значит правильно составленный доклад, вот какой у него долгий путь: от организации ареста — до приговора.

Прежде чем «бедственное положение» и «страдалец» взять в язвительные кавычки, аген-

---

ты НКВД, чтобы изобличить поэта, провели крупномасштабную операцию.

Лист дела б. 29 мая 1938 года.

**«Совершенно секретно. г. Калинин.**

**НАЧ. 4 ОТДЕЛА УГБ УНКВД по Калининской обл.**

**4-м Отделом ГУГБ НКВД СССР арестован за а/с агитацию писатель МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич, который по имеющимся у нас данным имеет в г. Калинин 2-е квартиры, одна из них находится по Савеловской улице д. № 52 и вторая по 3-й Никитиной ул. д. № 43.**

**Просим срочно произвести обыск в этих квартирах и результат обыска вышлите немедленно в 9-е отделение 4-го отдела ГУГБ НКВД».**

Цель обыска — обычная, постановление (лист дела 7) разъясняет: «〈...〉 с целью обнаружения оружия, переписки и других вещественных доказательств подлежащих обязательному изъятию».

Выясняется, что на ул. 3-й Никитиной поэт с женой снимали угол. Ни оружия, ни вещей, ни даже бумаг агенты не нашли. А что же на другой квартире, на Савеловской, 52?

**«Одновременно сообщаем,— доносят младшие коллеги,— что в г. Калинин, улицы под названием «Савеловская» нет».**

Ответ в Москву направлен лишь 9 июня. Видимо, 11 дней чекисты искали Савеловскую улицу.

Вот — имущество поэта. «Квитанция № 13346. 3.V.1938 г. Принято 〈...〉 от арестованного Ман-

---

дельштама Осип Эмильевича <...> чемоданчик малоразмерный, помочи, галстук, воротнички, наволочка, трость деревянная». Это все, что собрала ему Надя в последний путь. И еще деньги — 36 рублей 28 копеек.

\* \* \*

Была разница между тем арестом — в 1934-м, и нынешним — в 1938-м. Тогда был тщательнейший обыск — агенты перетряхнули все книги, заглядывали под корешки, резали переплеты, обшарили карманы у хозяев и гостей. Это длилось всю ночь! На этот раз никто ничего не искал. Было похоже, что сотрудники НКВД Шышканов и Шелуханов даже не знали, чем занимается человек, за которым они явились. Из чемодана бросили в свой мешок паспорт Мандельштама, рукопись, пачку переписки и книгу его стихов. Они пробыли минут двадцать.

И следствие было таким же. Если в 1934-м следователь, не утруждая себя доказательствами вины, очными ставками и т. д., все же трижды допросил поэта, который «признал вину», то на этот раз никакого следствия не было вообще. Единственный короткий допрос. Мандельштам был чист, вины не признал. Впрочем, никаких конкретных обвинений ему и не предъявили, — в этом не было нужды. В эту пору он уже подлежал преследованию за одну только анкету, чуть не по каждому пункту. Родился

Допрос: Магдальнытама Вина Диньсвара

Вопрос: Вы арестованы за антисоветскую деятельность?  
Признаете себя виновным?

Ответ: Виновным себя в антисоветской деятельности не признаю

Вопрос: За что вы были арестованы в 1934 году?

Ответ: В 1934 году я был арестован и осужден за антисоветскую деятельность, вырадившуюся в возмущении (на протяжении 1924-26) контрреволюционными антисоветскими (Керенский, Временное правительство и др.) К 3 годам лишения в т. Воротыне

Вопрос: После высылки вам запрещалось было проживать в Москве несмотря на то вы почти регулярно приезжали в Москву.

Расскажите к кому и с какой целью вы ездили в Москву?

Ответ: По окончании высылки



---

в Варшаве. Еврей. Беспартийный. Сын купца. Судим.

Тогда был следователь Шиваров, теперь — Шилкин. Шиваров, Шышканов, Шелуханов, Шилкин — одни шипящие. Еще и Шварцман к ним, подписавший «сопроводилровку» к протоколу обыска-ареста.

Единственный короткий допрос состоялся 17 мая. Школьную неграмотность следователя Шилкина сохраняю.

**В о п р о с :** Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Признаете себя виновным?

**О т в е т :** Виновным себя в антисоветской деятельности не признаю. <...>

**В о п р о с :** После высылки вам запрещено было проживать в Москве несмотря на это вы почти легулярно наезжали в Москву.

Расскажите к кому и с какой целью вы ездили в Москву?

**О т в е т :** По окончании высылки летом 1937 г. я приехал в Москву не зная того что мне запрещено проживать в Москве После этого я выехал в село Савелово а в ноябре м-це 1937 года переехал в г. Калинин.

Должен признать свою вину в том что несмотря на запрещение и не имея разрешения я не однократно приезжал в Москву.

Цель моих поездок в сущности сводилась к тому что-бы через Союз писателей получить необходимую работу т. к. в условиях г. Калинин я немог найти себе работы.

---

По мимо этого я добивался через Союз писателей получения критической оценки моей поэтической работы. и потребности творческого общения с сов.писателями В дни приезда я останавливался у Шкловского (писатель) Осмеркина (художник) которым я читал свои стихи кроме вышеперечисленных лиц я так же читал свои стихи Фадееву на квартире у Катаева Валентина, Пастернаку, Маркишу, Кирсанову, Суркову, Петрову Евгению, Лахути и Яхонтову (актер).

**В о п р о с :** Следствию известно что вы бывая в Москве вели анти советскую деятельность о которой вы умалчиваете.

Дайте правдивые показания.

**О т в е т :** Ни какой антисоветской деятельности я не вел.

**В о п р о с :** Вы ездили в Ленинград?

**О т в е т :** Да ездил.

**В о п р о с :** Расскажите о целях ваших поездок в Ленинград?

**О т в е т :** В Ленинград я ездил для того что бы получить материальную поддержку от литераторов. Эту поддержку мне оказывали Тынянов, Чуковский, Зощенко и Стенич.

**В о п р о с :** Кто оказывал Вам материальную поддержку в Москве?

**О т в е т :** Материальную поддержку мне оказывали братья Катаевы, Шкловский и Кирсанов.

<...>».

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

24

Особого совещания при Народном комиссаре внутренних дел СССР

от 2 августа 1938 г.

СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

17. Дело № 19390/ц о  
МАНДЕЛЬШТАМ Осине Эмилье-  
виче, 1891 г.р., сын купца,  
и.эсер.

МАНДЕЛЬШТАМ Осина Эмильевича  
за к.-р. деятельность заключит  
в исправтрудлагерь сроком на  
пять лет, сч. срок с 30/IV-38г.  
Дело сдать в архив.

дел № 48046

копия направлена Трубиной

6" VII 1938. №

направлена в Киев



И.М. Воронцова, II, 12016

От. секретарь Особого совещания

не ясно, каким образом велось следствие в этом деле



---

Этот допрос наблюдал, спрятавшись между двойными дверями, Павленко, который оказался другом следователя. Для него это был спектакль, который он пересказывал многим: как Мандельштам был растерян, как у него спадали брюки и он смешно хватался за них и т. д.

Надежда Яковлевна относит этот факт к допросам 1934 года. С одной стороны трудно поверить в возможность подобного любопытства: тогда висела над всеми тень Сталина, придавливала его личная резолюция. Сейчас же все было проще, у Павленко была своя роль в спектакле. С другой — Эмма Герштейн, друг семьи Мандельштамов, вспоминает со слов Осипа Эмильевича:

— Он стал мне рассказывать, как страшно было на Лубянке. Я запомнила только один эпизод, переданный мне Осипом с удивительной откровенностью: «Меня подымали куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек. Я упал на пол. Бился... вдруг слышу над собой голос: — Мандельштам, Мандельштам, как вам не стыдно? — Я поднял голову. Это был Павленко».

Рассказывать Мандельштам мог только после первого ареста и допросов в 1934 году.

Значит, Павленко был причастен оба раза: в 1934-м — соглядатай, в 1938-м — содоносчик.

Лист дела 24.

**«Выписка из протокола Особого совещания при Народном комиссаре внутренних дел СССР от 2 августа 1938 г. (...)**

---

**Постановили: Мандельштам Осипа Эмильевича за к.-р. деятельность заключить в исправ-трудлагерь сроком на ПЯТЬ лет, сч. срок с 30/IV—38 г. Дело сдать в архив.**

**Выписка направлена: Бут[ырская] т[юрьма] 16.VIII.1938 г. для направления в Колыму».**

Дело поэта слушали по очередности 77-м. Если учесть, что за день прогоняли до 200 дел, то приговор ему вынесли где-то в полдень — «самый магический, мифический и мистический час суток, как полночь» (вспомните Цветаеву).

Подпись: «Отв. секретарь Особого совещания И. Шапиро». Последняя шипящая.

## Глава 6

После приговора ОСО Мандельштама перевели в Бутырскую тюрьму, там формировали эшелоны в лагерь, которые уже покрыли страну густой сетью,— Свитлаг, Сиблаг, Бамлаг, Норильлаг, Вяземлаг, Ухто-Печерский лагерь, ББК (Беломоро-Балтийский канал)... В нескончаемой очереди ожидал своей участи Осип Эмильевич и в ожидании этом провел в Бутырках более месяца.

Бутырки — не Лубянка. Там он был подсудимый, здесь — осужденный, там — еще невиновный, здесь — враг. Там в одно-двухместной камере была у него постель, висели на дверях правила внутреннего содержания: запрещается, предоставляется, имеет право. Заварной чай утром и вечером даже имел запах. Каши и супы — сносные для неработающего. Вполне добротный туалет в углу — закрывался. Выдавали туалетную бумагу. В Бутырках же, в общей переполненной камере, сидело человек

---

триста. Нар было немного, и на них располагались те, кто выходил из камеры смертников, остальные тесно, спиной друг к другу, сидели на каменном полу. Новички — у параши, круглой высокой бочки ведер на 40. Уводили — приводили, очередь передвигалась, но щуплого, беззащитного поэта вполне могли держать у параши сколько угодно. Старались ходить на оправку ночью, но прихватывало и среди дня, устраивались у всех на виду под улюлюканье и ржание камеры.

Все же от тюрьмы в зону переход был, можно сказать, постепенным, поэтому сердце не остановилось до срока.

«Он (Мандельштам.— Авт.) совсем седой, страдает сердцем (...). Ходить не может — боится припадка, не отпускает от себя ни на шаг жену, говорит сбивчиво» (из дневника Ю. Слезкина).

«Осип плохо дышал, ловил воздух губами» (Анна Ахматова).

Таким запомнили его современники перед вторым арестом, таким, если не хуже, погружали его в эшелон.

Лев Гумилев незадолго до своей смерти успел рассказать мне, как несколько месяцев жил в Москве у Мандельштама:

— Это был безумно не приспособленный к жизни человек. Он не знал, как пройти по Москве,— куда ехать, куда идти, путался в трамваях даже возле дома.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № 662

НА АРЕСТОВАННОГО

БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЫ ГУГБ НКВД

*Мандельштам*  
*Осип. Эммануилович*

прибыл 4/VII 1938 года  
**ОННВОЛЗОЦ**  
ТО  
ОПИСЬ  
АРХИВ

**В/3-2844**  
*117794*



67 10

СОВ. СЕКРЕТНО

10-й ОТДЕЛ ГУГБ НКВД СОЮЗА ССР

78

1938 г.

№ 16023

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Кому: Внуку государственной безопасности  
Мандельштам тов. Мухомов

Кому: Бунин тюрьмы ГУГБ  
Мандельштам государственной безопасности  
тов. Бунин

Ванн от Мандельштама ОЕ

Письмо в Бунин тюрьму ГУГБ.

Письмо из Бунин в общую камеру  
месте

Получено от арестованных

Ванн числится за отделением "414" 10-го отдела ГУГБ.

Начальник 10-го отдела ГУГБ НКВД  
Мандельштам государственной безопасности

Начальник отделения государственной безопасности



---

Слепой, безрукий, он отбыл в неизвестность, в бесконечность, ни с кем не простившись, даже с Наденькой. Не вернув частные мелкие долги и не получив единственный долг — от государства: право жить по своему странному недоразумению и писать возложенное на него Богом. Смерть еще подождет почти четыре месяца, но для всех он уже как бы растворился, растаял и стал воспоминанием — добрым, дурным, печальным.

\* \* \*

Товарный состав был подан на задворки Северного вокзала. Заключенных доставили из тюрьмы утром, прогнали через баню — санитарный пост был здесь же, в тупике, — загрузили в вагоны и наглухо закрыли дверь. Сплошные нары тянулись в два этажа, во всю длину вагона. Стриженный народ, легко одетый, ни шапок, ни валенок (схвачены были в конце весны, летом), занимал места на неструганных досках. Все — по 58-й статье. Легкие пальто, шляпы, свитеры, костюмы — некоторые были одеты даже красиво, но в потертом, помятом, несвежем.

Уже стемнело, и была тишина, когда состав тронулся. Так и двигались, крадучись, — по ночам, прячась днем в тупиках.

Начиналась вторая неделя сентября, погода стояла сухая, для всех хорошая. Средняя Россия провожала их — речки, взгорки и опушки, березы, тополя и вербы. Опадали листья, просту-

---

---

пала в природе печаль, с каждым днем все более: Москва — Ярославль — Ковров — Вятка... В палисадниках увядали цветы. Синее небо, и чистый горизонт, и вся безоблачная бесконечность были в тягость; и реки в тягость, и яркое солнце, и вся безупречная природа. Был бы дождь — еще хуже, лежали бы, как волки. Никакой хорошей погоды для них не существовало.

Города в средней России рядом, и в первые ночи эшелон часто останавливался, охрана простукивала снизу полы колотушками, нет ли надреза. Становилось свежо, но никто не мерз, хотя зарешеченные окна не были застеклены. Днем же, в тупике, перегретая железная крыша с избытком отдавала тепло.

Шумно откатывали дверь на шарнирах — приносили хлеб и воду. Кипятка не было на всем пути. В обед походная кухня подвозила баланду и кашу-сечку, к вечеру — снова баланду. Параша стояла возле дверей. Люди слабели и на оправку ходили раз в два-три дня, снова, как в тюрьме, — на виду, а теперь и на ходу, в тряске и грохоте пути — стыдно и унижительно. Теперь уже меньше было шуток и издевок, больше крика, конвойный бросал тряпку, чтобы неряшливые убирали за собой.

Та же тюрьма, только менялась декорация за окном. Днем никто не спал, и на вторые нары; к окошкам — в сторону на юг — пускали всех. В тупиках сходились и молча расходились вдоль вагонов конвойные — молодые ребята в новых шинелях. Проходили рабочие-путей-

---

цы с ломами и кирками, женщины в фартуках. Из окошек вполголоса несло: где мы, где? Рабочие пытались вступить в разговор: откуда? Куда? Конвоир снимал с плеча винтовку: «Не разговаривать!» Рабочий вынимал пачку сигарет, просил конвойного: «Передай, люди просят». Щелкал затвор: «Уходи!» Поблизости всегда был какой-нибудь железнодорожный поселок, протекало мимо, не касаясь, чужое вольное житье-бытье, доносились его отголоски — обрывки разговоров, смех, частушки, песни, грустные и блатные.

Птицы — вот кто верно сопровождал их на всем пути. Утром, на запасных путях, в тишине, щебетание птиц звучало громко и чисто. Они были где-то рядом, вокруг — на шпалах, на крыше вагона. В такие минуты люди забывали, что едут не домой, выщипывали драгоценные пайки и бросали крошки птицам, чтобы увидеть их, но слетались только голуби.

Еще сопровождали их, так же верно, повсюду портреты Сталина, на всех пристанционных постройках.

Так они ехали, по обе стороны гибельной колеи отгораживала их от остального мира, от остающейся, уходящей из-под ног земли «полоса отчуждения». Обычные железнодорожные технические нормы с названием как раз для этапа.

Чем дальше углублялись на восток, тем длиннее становились перегоны, длиннее делались ночи и короче, осеннее — дни. Там, где

---

пошли степи, болота, тайга, ехали уже и днем. Днем миновали огромную и ровную, как стол, Барабинскую степь — ни дерева, ни строения. Заправочные колонки были только в больших, редких теперь, городах, резко сократилась вода, всех стала мучить жажда.

Где-то после Вятки по утрам стал появляться иней — на траве, на крышах железнодорожных будок. За Уралом заметно похолодало, а после Красноярска начались заморозки. Съежишься, друг к другу прижмешься — жить можно.

Вот когда Осипу Эмильевичу впервые настоящему пригодилось желтое кожаное пальто — подарок Эренбурга.

\* \* \*

Наверное, не один раз за долгий этот путь, более месяца, вспоминал он первый свой арест, приговор и первую ссылку. В полной уверенности, что его расстреляют, в ожидании расстрела («Ведь у нас это случается и по меньшим поводам...») он вдруг получает милость — в Чердынь они едут с Наденькой. Бесплатный билет для Наденьки, бесплатные носильщики, вежливый провожатый в штатском, который взял под козырек и пожелал счастливого пути. В советскую ссылку так никого никогда не отправляли. Обычный пассажирский поезд, обычный вагон, они с Наденькой и тремя конвоирами заняли шесть лежачих мест. На платформе стояли

---

брatья — Женя и Шура. Как он был счастлив тогда!.. Он прижимался к оконному стеклу: «Это чудо!» Мелочи не беспокоили — вход в вагон с их стороны и туалет рядом были заперты, на станциях выходил только старший из конвоиров — тоже Ося, двое других оставались рядом. Разве не чудо, что жив и почти свободен? Старший конвоир, добрый парень, глядя на взволнованного ссыльного, говорил Надежде Яковлевне: «Успокой его! Скажи, что у нас за песни не расстреливают. <...> Вот в буржуазных странах уцелеть невозможно: там за милую душу могут отправить на тот свет, если сочинишь какой неподходящий стишок...» Она дала ему томик Пушкина, Оська читал вслух рассказ старого цыгана и сокрушался: «Вот как римские цари обижают стариков». Провожая поднадзорную в туалет, он нарушил инструкцию, потихоньку сообщив, что едут они в Чердынь и там климат хороший.

*«Это была не единственная поблажка, на которую решился Оська. На многочисленных пересадках он заставлял конвоиров таскать наши вещи, а когда мы пересели в Соликамске на пароход, он шепнул, чтобы я взяла за свой счет каюту: «Пусть твой отдохнет»... Конвоиров он к нам не пускал, и они болтались на палубе».*

Тогда преследуемый поэт отправлялся в ссылку человеком, теперь — грузом. Надежда Мандельштам точно обозначила граждан без обличья, следующих транзитом через всю страну: «Люди, для которых остановилось время, а про-

---

---

*странство стало <...> вагоном, набитым до отказа человеческим полумертвым грузом, отвергнутым, забытым, вычеркнутым из списка живых, потерявшим имена и прозвища, занумерованным и заштемпелеванным, переправляющимся по накладным в черное небытие лагерей...».*

Лагерь был уже близко. Уже европейские речки и речушки давно сменились могучими сибирскими реками, у огромных мостов при виде эшелона часовые вскидывали винтовки наперевес, на берегах отдыхали прикованные лодки. Уже обступали все теснее скалы и горы, ели и сосны — темная зелень почти затягивала человеческий груз. На одном из запасных путей — зеркальное отражение — остановился такой же точно эшелон: зарешеченные окна, стриженные головы. Прошли под конвоем две медсестры. Кому-то плохо.

После Хабаровска сгустился туман. Ранним холодным утром на маленькой станции пронесли на носилках два трупа, закрытых с головой. В конце пути, как видения рая перед смертью, отворились красивейшие места — дачные пригороды с уютными домиками и акациями, молодая дубовая роща. Среди сопok распахнулся огромный залив. Появился высокий дом с вывеской «Санаторий морского флота».

На краю земли эшелон остановился. 12 октября 1938 года. Последний тупик под названием «19-й километр».

Был день, часа три-четыре. Возле состава появилось много людей в форме НКВД, началь-

---

---

ник конвоя громко дал команду выходить из вагона и строиться по пятеркам.

Заклученные ступили на каменистую землю.

— Партия, внимание! Вы прибыли в город Владивосток. В пути следования никаких разговоров. Шаг вправо, шаг влево — считается попыткой к побегу. Стреляем без предупреждения.

— А где обед?

— В лагере накормят.

Измученный народ в сопровождении овчарок двинулся в путь. Черная змея растянулась далеко, первые уже уходили в сопки, а последние еще стояли. Задние овчарки, подгоняя, лаяли громко и надсадно. Жались к сопкам деревянные дома. Прохожие рассматривали стриженных усталых людей с любопытством и тревогой.

В лагерные ворота запускали по одному. У входа на улице стояли столы; две молодые женщины, вольнонаемные, выкликали по алфавиту заключенных: «Фамилия? Год рождения? Статья? Кем осужден?» Процедура шла утомительно медленно. Старики из задних рядов едва плелись к столикам, их подгоняли.

Больной, задыхающийся Мандельштам переступал едва-едва, на него орали и заключенные, и лагерное начальство.

Впустили всех где-то к восьми вечера. Старшие барачников объявили свободные места.

Осип Эмильевич оказался в 11-м.

---

\* \* \*

Прекрасна была осень 1938 года, более чем за месяц пути не выпало, кажется, ни капли дождя.

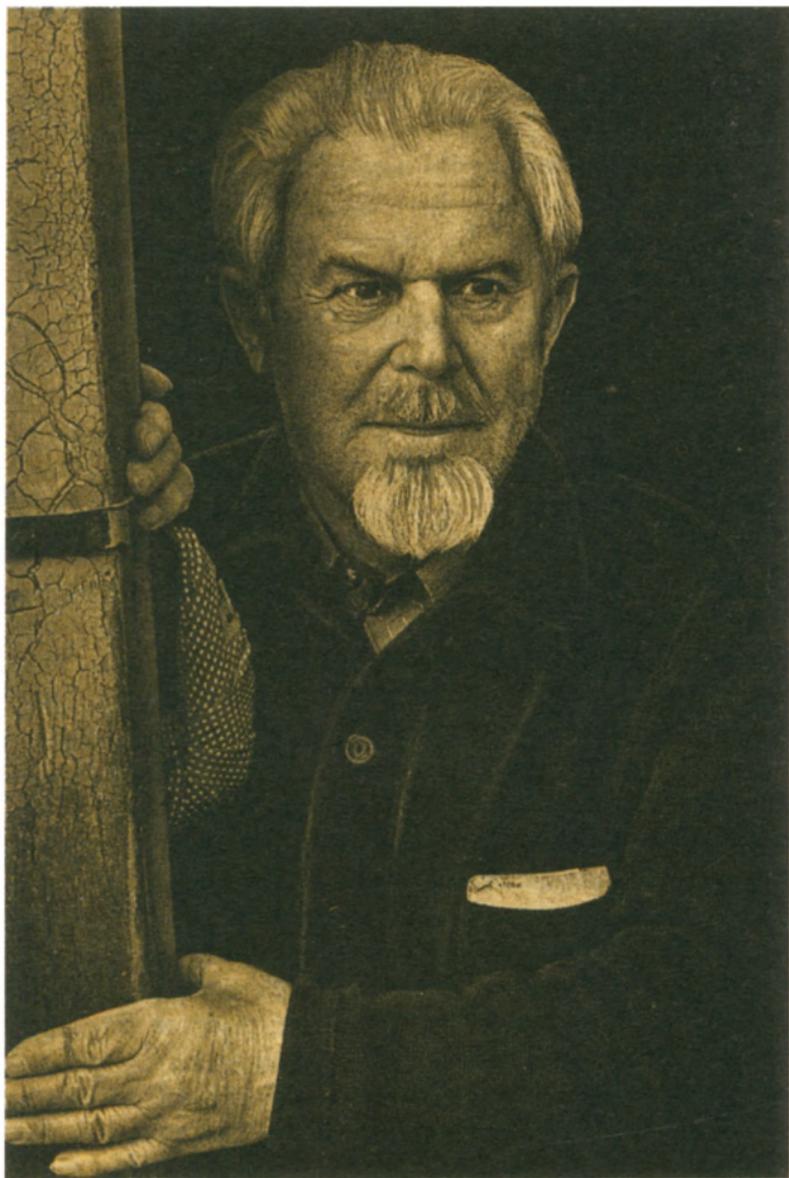
\* \* \*

Пересыльный лагерь 3/10 УСВИТЛАГа (Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей) являлся перевалочной базой, отсюда, после сортировки, слабых и беспомощных отправляли в мариинские лагеря, остальных — морем на Колыму. Около 14 тысяч заключенных ожидали участи: в первой зоне — уголовники, отдельно — женская зона, затем «китайская» (3 тысячи рабочих и служащих КВЖД) и, наконец, — «контрики».

Зону «контры» замыкал как раз 11-й барак.

— За нами шла вплотную высокая сопка, за ней форт — бойницы, мощные стволы: моряки, они охраняли побережье. А может, и нас тоже, не знаю. У нас была своя охрана — на вышках.

Юрий Илларионович Моисеенко — нечаянный свидетель. После 12 лет тюрем и лагерей он до сих пор не разогнулся и ни разу не обмолвился о прошлом — ни с женой, ни с детьми. Год назад прочел в газетах о столетнем юбилее Мандельштама, снова всплыл в памяти блаженный жалкий старик, который «жил внутри себя» и которого называли «поэт». Не сразу, но все



**Юрий Илларионович Моиссенко**



---

же решился Моисеенко написать о его смерти в «Известия».

Мы сидим с Юрием Илларионовичем в маленьком гостиничном номере в Осиповичах (Могилевская область). Пенсионер, сторож «Сельхозтехники». Застенчивый, робкий. Едва начал отбывать тогда первый срок — 5 лет, как получил новый — 10.

Та же колея вела его, те же сопровождали птицы — с разницей в два дня.

— Я прибыл 14 октября. В Покров. Барак человек на триста, даже больше, нары — по обеим сторонам, сплошные. Парнишка-блондинчик хлопнул по плечу: «С этапа? Давай к нам на третий ярус». Покормили нас прямо во дворе, уже был вечер. Я спросил Ваню Белкина, который меня позвал, кто это с ним рядом. Там старик лежал. Ваня говорит: «А-а, это с Ленинграда».

На другое утро ели на нарах, и старик сидел — в рубашке, в брюках. Очень худой. Мешки под глазами. Лицо мелковатое такое. Лоб высокий. Нос выделялся. Глаза красивые, ясные. Рубашка в крапинку ему очень шла. Он причесал немножко голову — вот так, рукой провел, и спросил меня: «Молодой человек, откуда вы прибыли?» — «Из Смоленска». — «А как же зовут вас?» — «Юрий». — «Будем знакомы. А много вас приехало?» — «Много». — «58-я?» — «Да». — «Ну это, как у нас у всех, никому не обидно».

---

С улыбкой сказал. Сам не представился. Когда узнал, что из Смоленска, интерес ко мне потерял.

Так я познакомился с Осипом Эмильевичем. Мне сказали — поэт. А я и не слышал никогда такого...

Тех поэтов, которых знать полагалось, Моисеенко знал еще в школе: прошлых — Пушкина и Лермонтова, современных — Маяковского и Есенина. Земляков — Якуба Коласа и Янку Купалу. Но впереди всех, впереди Пушкина, был Демьян Бедный, которого декламировала, пела, изучала вся страна. И ученик Юра Моисеенко дважды в год — 7 ноября и 1 мая — выходил на школьную сцену. Кроме Демьяна Бедного звонко читал Безыменского: «Скажи мне, Партия, скажи мне, что ты ищешь?— И голос скорбный мне ответил: “Партбилет”».

— Я же был грамотный парень, русский язык соблюдал.

После школы узнал Городецкого, Светлова, Уткина, Асеева, Луговского, Кирсанова...

Но никогда ни от кого не слышал он такой странной фамилии — Мандельштам. Тем не менее к соседу по нарам стал относиться с почтением, особенно когда узнал, что тот знаком с самим Эренбургом. Моисеенко даже знал, сколько у Эренбурга курительных трубок.

Юрий Илларионович — маленький, сжавшийся, в больших глазах, сильно увеличенных очками, — покорность, обида.

---

— Я только в лагере узнал, что Бедный — не Бедный, а Придворов,— сказал так, словно был обманут. Помолчал.

— Мандельштам часто Ленинград вспоминал, и его в лагере многие ленинградцем считали. Он что же, жил там?

— Он нигде не жил...

\* \* \*

Сосеждествовали вшестером. Справа от входа, в первой трети барака, на верхних нарах. Сначала шел Моисеенко. Рядом — Владимир Лях, ленинградец, его арестовали в геологической экспедиции, пытали в Крестах. За ним — Степан Моисеев, из Иркутской области, физически крепкий, но хромой. Ранили свои же, на охоте. Дальше — знакомый уже Иван Белкин, шахтер из-под Курска, года 24,— ровесник Моисеенко. За ним — Мандельштам. И, наконец,— Иван Никитич Ковалев, пчеловод из Благовещенска. Смиранный человек. Если и слушает кого — вопросов не задает. Пожалуй, чуть постарше Мандельштама.

Он-то, Ковалев, и стал последней, верной опорой поэту. Вернее — «поэту», ибо для лагерного большинства это было прозвище: краткое, вполне безобидное — «поэт». Ковалев стал его рабом. «Шестеркой». Редкость: шестерят обычно перед сильными.

— Ковалев тянулся к Осипу Эмильевичу, а тот больше общался с Ляхом. Лях — с эруди-

---

цией. Осип Эмильевич ко всем относился почтительно, но к Ляху обращался — «Володя, вы...», а к Ковалеву — «Иван Никитич, ты...». Мы Мандельштама звали по имени-отчеству, на «вы». За глаза попроще — «Эмильевич». Кто-то из новичков спросил его, как правильно — Осип или Иосиф? Он говорил так — вростяжку: «Называйте меня Осип Эмильевич». И через паузу добавил: «А дома меня звали О-ся». И улыбнулся на этот ласковый звук, и мы все засмеялись.

Остальные тоже кучковались по разным признакам. Старые большевики держались скромно, некоторые в зимних пальто и шапках, видимо приехали еще весной. Молодые партийцы вели себя уверенно, ходили с развернутой грудью, были грубы и нахальны. С простонародьем ни те, ни другие не общались. Торговые работники — тоже развязные. Священники греческой церкви. Царские офицеры. Участники боев на Хасане.

— Осип Эмильевич чувствовал себя чужим даже в нашей соседской среде. Духовного взаимопонимания же не было. Ну какие мы ему единомышленники?

\* \* \*

Пересылка — место не самое жестокое, но гнилое, своей нужды в рабочей силе нет, сохранять некого и незачем.

---

Вместо шести поднимались в восьмом часу. Мандельштам — позже других, каждый раз садится на нарах, разглаживает рукава рубашки, застегивает пуговицы и кланяется соседям:

— Доброе утро.

Бродят по бараку, курят у дверных щелей. Отпирают двери, но никто не расходится — ждут пайку. Подъезжала военно-полевая кухня, выстраивалась по бригадам очередь. Утром — хлеб и сахар-рафинад, два колотых кусочка, всегда казалось, что у другого больше. В обед — баланда с разваренными рыбными крошками и каша — перловка или соевая. Вечером — снова баланда. Утром и вечером — по кружке сырой воды. Недосоленную кашу съедал не каждый. Из очереди могли вытолкать партийного работника: «Вали отсюда, накомандовался» — и странно, но также плохо относились к блюхеровским командирам-дальневосточникам.

— Нары — сплошные, на десять человек — одни поручни. Осип Эмильевич хотел всегда первым, впереди других успеть, а спускался медленно, все ждали. Знал, что будут недовольные, но лез. «Ну, я пошел». Мы ждали, а другие нас обгоняли. Но он смягчал это улыбкой наивной. Ковалев стоит и помогает ему слезть — залезть. Если в пайке оказывалось меньше нормы, то сверху на деревянном штырьке закрепляли добавку. Он получит пайку, идет по дороге и рассматривает, не осталось ли наковки от штыря, не обманули ли. Другие тоже так, довесочек — это же жизнь была. Баланду

---

поднесет ко рту — отставит с сомнением, опять поднесет, попробует — в сторону. Мы все съедем, потом, после нас, — он. Отравы боялся? Не знаю, может быть, у него странностей много было. ...Хлеб всегда оказывался вкусный. Или так казалось, потому что не хватало. Утапывали за один раз, а потом весь день жалеешь. Главное, не смотреть на кусок, посмотрел — все, обязательно отщипнешь, еще и еще. Потом и Мандельштам научился, заматывал хлеб в грязный носовой платок и прятал в изголовье, рядом с ботинками.

Перед едой предстояло испытание: единственный заменитель всех лекарств — настойка из пихты, смолисто-мыльная, на сырой воде. От нее стягивало десны и зубы, даже Моисеенко, крепкого сельского парня, поначалу мутило и рвало.

Позавтракали — болтаются по зоне. Пообедали — кто спит, кто бродит. Играли в самодельные, из хлеба, шахматы. Осип Эмильевич останавливался, безучастно смотрел на играющих, отдыхал на маленькой скамейке у входа в барак. Вечером, до отбоя, снова заняться нечем. Томились.

Вечера, впрочем, были самым милостивым временем. Косо били яркие прожектора, лагерь озарялся, но все равно и при свете голову поднимешь — видно темно-синее небо и звезды. Почти все ночи стояли хорошие, звездные, смотришь на небо — мир так велик... И как будто ты

---

не заключенный. День прожит — жив, и еще есть надежда на завтра.

На вечерних прогулках народу полно, знакомилась запросто. Какой-то немец спрашивал: «Кто из Саратова?» Царский артиллерист рассказывал, как в гражданскую расстреливали Днепровскую флотилию. Молодые партработники вели важные беседы. «Скоро должен быть Пленум ЦК комсомола. Косарева уберут, назначат Михайлова». Не было ни газет, ни радио — никакой информации, но бывшие чиновники оказывались в курсе событий, даже предстоящих. «Скоро будет решение, вместо Ежова — Берия...» Новости порождали надежды... Народ попроще обсуждал дела челюскинцев. Прохаживались вдвоем хорошо одетые пожилые ученые-астрономы, словно для них стояли такие звездные вечера.

В десять часов подвешенная к столбу рельсина звонила отбой — с ревом, как будто железо рвали на куски.

После отбоя разговор в бараке продолжался — тихо, вполголоса.

Я дал прочесть Моисеенко лагерные воспоминания о Мандельштаме разных людей, смутные пересказы, крайности, в которых тесно соседствовали романтика и жестокость.

— Нет, его не били, неправда, в нашей зоне блатных не было. Ну, может быть, на одну ночь иногда. Эшелон придет из Ростова или Харькова, а у нас места свободные: этапы же уходили один за другим — на Колыму. Ну, конеч-

---

но, народ разный... Это при мне было — трое стоят, один парень курил и так зло сказал Осипу Эмильевичу: «Заткнись ты!» Иногда остановится около кого-то: «Вали-вали отсюда». Это было в ходу. Тут еще, знаете, и антисемитские настроения: «У тебя кто следовательно был? И у меня — еврей». — «Жидовье власть взяли». А начальство, администрация лагеря, — не знаю, удобно ли говорить? — из евреев в основном. В бараке в спину ему говорили: «Доходяга пошел». Но Ковалев их остепенял: «Что вы, хлопцы, кого вы обижаете?» Вот кто донимал, покоя ему не давал, так это Левка Гарбуз — старший барака. Это, наверное, кличка была, а не фамилия\*. Хват. У него было и мыло, и сахар, и хлеб — черный и белый. Он охотился за теми, кто недавно с этапа, у кого вещи незаношенные. Выменивал. Мат, оскорбления. Он у Осипа Эмильевича желтое кожаное пальто хотел выманить: «Сдохнешь — все пропадет, по нам оботрешь, а так выгоду иметь будешь». Однажды Левка начал разговор в бараке, а потом вывел Осипа Эмильевича за дверь. В другой раз с нар поднял, к себе позвал. Я спросил Мандельштама, что тому надо. «Ай, — говорит, — коммерсант». Парень крепкий, у него свои шестерки были. Одевался здорово — рубашки хорошие, выглаженные брюки. Вечером их обрызгает — на нары, потом — полотенце и

---

\* Речь об эстрадном чечеточнике из Одессы Льве Томчинском.

---

---

ложится. К утру — стрелочки. В середине ноября исчез, видимо на Колыму отправили, и старшим стал Норонович, бывший секретарь крайкома, он еще с Эйхе работал, исключительно порядочный.

— В единственном письме из лагеря, — я показываю Моисеенко копию письма, — Мандельштам сообщил: «Последние дни ходили на работу...»

— В пересылке на работу не гоняли. Ну какая это работа — двор прибрать. Раз или два он выходил, взял метлу на палке, это неустойчиво, гнуться не надо. У него настроение поднялось, вроде не хуже других. Еще — дневалил у бочки с водой. Трудно было с водой — колонка далеко, за лагерем, воду привозили на лошадях. Этот водяной мор хуже голода. Хуже рабства, в рабстве можно хоть что-то заработать. Воду стерегли, молодые особенно не подпускали, с руганью отгоняли. Ну и Осипу Эмильевичу выпало дежурить. Ну, как он стерег... Кто-то постарше его подойдет: «Водички разрешите». Он отворачивался и уходил в сторону, и люди наливали... Я сижу на нарах и все вижу. До завтрака выносили на просушку парашу во двор — двое несли на палке. Но до Осипа Эмильевича очередь не дошла, да он и не поднял бы, Ковалев бы за него вынес.

\* \* \*

Были еще ночные работы — «добровольно-принудительные». После ужина в барак при-

---

---

ходил лагерный завхоз Омельянчук, вызывал старшего: «Шесть хлопцев давай мне покрепче». Норонович обходит нары: «Собирайся, сходишь... Пайку заработаешь». Соглашались. Молодым, здоровым почему для разнообразия не вырваться за зону, там у конвойных можно новости узнать, подкормиться у них остатками сала, консервов. Там они копали большие воронки. Им не говорили для чего, но они понимали. Рядом было множество таких же воронок, но уже закопанных. Возвращались под утро. О том, чем занимались, не рассказывали, видимо был запрет, но в бараке обо всем догадывались. Определенных ночей не было, вначале уходили пореже, потом чаще.

Мандельштама на такие работы, конечно, не брали — в ночь, под конвоем, он бы и не дошел. Он был не из тех, кто копал, а из тех, для кого копали.

## Глава 7

Странности Мандельштама видны были с первых минут. Необщительный, замкнутый, рассеянный, осторожный. Из барака выйдет — озирается по сторонам. Пока были силы, ходил быстро и нервно, разговаривал сам с собой. Подходил то к глухому забору, за которым слышалась китайская речь, то к другому краю зоны, единственному месту, с которого видна была улица — огороды, лачуги, видимо, приютились горемыки. Росли деревья поодиночке. В одном и том же месте по вечерам возникала гармонь. «Мужик заполошный», как звали Мандельштама, подбегал к запрещенным зонам, стража отгоняла его. Возбуждение вдруг сменяется апатией, и он медленно, словно считая шаги, расхаживал — руки за спину, запрокинув голову. «Большая спесь», как говорит Моисеенко.

Один бывал редко, на прогулке его всегда окружали. Если появлялся кто-то из незнакомых, он замолкал и уходил.

---

— Он мог так глянуть!.. Неприятно даже. Академик Крепс, учившийся в Тенишевском училище с братом Осипа Эмильевича, подошел к поэту знакомиться: «Здравствуйте, Осип Эмильевич!» Тот сидел на земле, был задумчив и никак не отреагировал. «Осип Эмильевич, я тоже тенишевец...» Мандельштам вскочил, заулыбался, оба стали вспоминать общих знакомых. Но Крепс тут же совершил непоправимую ошибку, спросив поэта, что ему вменяется в вину. Беседа оборвалась.

Мандельштам не любил разговоров о черных днях — кто был следователем, как допрашивали, очные ставки и т. д. К соседям по нарам это относилось меньше. Он сам рассказал Моисеенко о ленинградском однофамильце Мандельштаме, который проходил по делу об убийстве Кирова и был расстрелян. Следователь допытывался, не родственник ли. Рассказал, что после тюрьмы бросил курить. «А раньше я курил ха-арошие папиросы».

— Как-то вечером,— вспоминает Моисеенко,— мы спросили у него, за что его посадили. Об этом в лагере не принято спрашивать. Он ответил: «Ни за что». А потом, под настроение, говорит: «Хотите прочту?» И прочел стихи о Сталине. Но, по-моему, не целиком. Читал он тихо, но и так никто не слышал, весь барак гудел в разговоре. Я хотел куплет про тараканьи усы запомнить, но не смог. А переспросить стеснялся, он мог меня и оборвать. Он переспросов не любил, сразу вдруг и тон дру-

---

гой, и взгляд: «А зачем тебе?» Или резко отвечал: «Оставьте!» — и отмахивался рукой. Но когда бодрость духа была, была и общительность. После этого стиха я уже к нему с доверием подошел. Дня через два-три. И коснулся несправедливой славы Сталина. Он потрепал меня по голове — легонько, по-отечески: «Знаете что? Я вам советую на эту тему не вести разговоры ни с кем». Улыбнулся и отошел. И мне стало так неудобно, я после этого даже стыдился его... Я не видел, чтобы он на людях читал о Сталине. Только однажды — на нарах. Его надо было увлечь на разговор. Когда он сытый — спокойный. Но это редко. Нас, соседей, не отвергал. Однажды что-то прочел мне. «Это вы написали?» — «Нет, не я». Утром попросил повторить. Он улыбнулся: «Понравилось?» И прочел еще раз. За все время, до карантина, он читал стихи раз пять — вечером, на нарах. На прогулке? Наверное, тоже читал, я не знаю, там у него свое окружение. Там часто говорили об общих знакомых. Осип Эмильевич сказал, что где-то в нашем лагере находится Бруно Ясенский. Первым он никогда ни к кому не подходил и стихи не навязывал. Может быть, в приступах... искал духовно близких... Но уж за хлеб не предлагал, это ложь. Наоборот, его надо было просить прочесть. Он посмотрит долго, задумается: «Да? Сейчас подумаю». Пушкина читал: «И скучно, и грустно, и некому руку подать». Лермонтов? Ну, может быть. Еще помню: «Сердце в будущем живет,

---

настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило». А это — Пушкин? Вот видите. Пророческое и утешительное. Он любил, когда просили: «Еще, еще». Останавливался, делал паузу. Руки под голову и, глядя в потолок, читал. Садился, снова читал. Час читал, полтора — с разговорами, с паузами. В такт кивал головой. Иногда закрывал глаза. На людей не смотрел, уходил в себя. От него я узнал о Гумилеве, Ахматовой, их сыне — Лева, да? Читал Мережковского, Андрея Белого — вот кого он любил. Читал медленно, красиво. А свои стихи? Мы их не очень понимали, они сложные у него... Мало мы его тешили, у него не было интеллектуального источника возле нас. Даже Лях не знал его как поэта.

— Писал ли он что-то?

— Да, писал. Иметь карандаш запрещалось, но у Осипа Эмильевича был маленький. И был плотный лист бумаги, сложенный во много раз, как блокнотик. Он его медленно разворачивал, в руках вертел, смотрел, опять складывал, убирал в боковой карман пиджака. ...Что-то пишет, уберет, думает. Читает, отвернется, опять пишет. Он жил внутри себя.

\* \* \*

Был он неуклюж, неряшлив, неопрятен. Идет — ворот не застегнут, носок опустился на ботинок. Поставит баланду — прольет на нижние нары, песок с его ботинок сыпался на сосе-

---

дей внизу. Шум, Гарбуз кричит матом: «Что там у вас опять?» Подбежал к Мандельштаму: «Опять ты?!» Однажды после крика Мандельштам решил, что с ним хотят расправиться, и собрался перейти в другой барак, к знакомым ленинградцам. Раза два после отбоя его вдруг не оказывалось в бараке. Появлялся около полуночи — в шапке, в пальто, лицо напряженное. Володя Лях спросил громко: «Ну, Осип Эмильевич, вы, наверное, в женской зоне были?» Весь барак оглянулся и расхохотался. А он, не меняясь в лице, ответил рассеянно: «Я был у своих товарищей». Лег на бок и от всех отвернулся.

Сидит на нарах — то испуганно озирается, то, успокоившись, смотрит мимо всех. Лях спросит о чем-нибудь, Осип Эмильевич молчит, даже отворачивается, потом минуты через три очнется: «Что вы спросили? Извините...» Моисеенко убежден, что эти странности — от тюрьмы, угроз, допросов. Иногда трогал живот: «Курсак пропал». Это он по-детски копировал заключенных из Балхашстроя.

— Все смешалось в нем — апломб и высокомерие, наивность и незащитность. И за всем этим какая-то обреченность.

\* \* \*

В конце октября прошел первый недолгий дождь: ночь, день, ночь — и опять солнце. В начале ноября второй — с ночи и до обеда.

---

С сопок в лощины, через лагерь побежали ручьи, задули пронизывающие северо-восточные ветры. Где-то 2—3 ноября в честь Октябрьской революции объявили «день письма» — заключенным разрешили написать домой. Жалобы и заявления можно было составлять хоть каждый день, а домой — раз в полгода.

После завтрака, часов около одиннадцати, явился представитель культурно-воспитательной части (КВЧ). Раздали по половинке школьного тетрадного листка в линейку, карандаши — шесть штук на барак (но грифельные огрызки были почти у каждого, Моисеенко кусочек карандаша носил в ботинке): никаких вопросов в письме не ставить; о том, кто с вами, — не писать, только о себе — о здоровье, о пребывании. Конверты не запечатывать.

— День письма — это был день терзаний. Письма отдали, и все до отбоя молчали. Только на второй день, как после безумия, в себя приходили. Как будто дома каждый побывал. Я писал отцу в Белоруссию. Он так радовался раньше за меня, так гордился, что я в Москве учусь, а теперь я прошу у него что-нибудь покушать... Сала кусок. Я в эти минуты вспомнил все. Как с Покрова трава ночью покрывается инеем. Уже в ночном не пасут лошадей, только днем пасут — на лугу, путают им ноги. С полей убрана солома, поля запаханы на зиму... Осип Эмильевич тоже письмо отправил. Писал, сидя согнувшись на нарах. Что-то было подложено под листок. Что — не помню, книг не было, я не





---

видел. Потом он тоже был очень удрученный, потерянный. 7 ноября сказал нам: «Сегодня дома я был бы в такой компании!» Фамилий не назвал, нет. Чуть позже вспомнил Ахматову, еще... Был такой поэт — Сельвинский? Вот, его он вспомнил. Ахматову-то вспоминал все время как близкую. Он очень любил жизнь. И держался. А после 7 ноября стал угасать. «Мне бы Илью Григорьевича разыскать. Если бы он знал, что я здесь, он бы меня отсюда вытянул». Володя Лях его успокаивал: «Ничего, разберутся, вы выйдете...» ...А о жене — нет, вслух не говорил никогда.

Мандельштам не знал, где теперь бездомная Наденька, наверное арестована. Он написал на адрес брата:

«Дорогой Шура!

Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ, 11-й барак. Получил 5 лет за к.р.д. по решению ОСО.

Из Москвы из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехал 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуй все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои. Целую вас. Ося.

Шурочка, пишу еще. Последние дни ходили на работу, и это подняло настроение.

---

Из лагеря нашего, как транзитного, отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в «отсев», и надо готовиться к зимовке.

И я прошу: пошлите мне радиogramму и деньги телеграфом».

Были еще безумные дни — получение писем.

— О-о, там письма читали — по несколько дней, пока на память не заучат, ну что вы! От родных — что вы! Но Осип Эмильевич ни от кого ничего не получал.

*«Из лагеря я получила письмо — одно-единственное — и это тоже считалось большой удачей: ведь я узнала, где находится О. М. Немедленно я выслала посылку, и она вернулась ко мне „за смертью адресата“».*

\* \* \*

Мне трудно объяснить Моисеенко простые вещи. Почему, если поэт хороший, советская власть не давала ему жилье и он скитался? Почему не печатали, если хороший? А раз не печатали, то на какие средства он жил и как стал знаменитым?

— Почему я такого поэта не знаю? Многих знаю, а его нет, но я ему об этом не сказал. И Ковалев, добрая душа, делал вид, что слушает его стихи. Люди в бараке менялись — уходили, уносили... Многие даже и имени его не знали: жалкий старик, и все. Его стихи хоть немножко продавали?

— Немножко.

---

— Хоть бы томик где купить, познакомиться.

— В Америке четыре тома издали. Давно уже.

— Значит, его считают большим поэтом?

— Да-а!

— Но тогда он должен быть популярным. Мы же, народ, должны знать своего поэта.

— Должны. Он будет популярным. Но не скоро.

— Плохо. Плохо. Все было растоптано, все. Погиб как мученик. Свалили ночью в телегу, в кучу, и увезли. Я никогда не думал, что будут отмечать его столетие, что ко мне из Москвы приедут, и я буду публично вспоминать все это. А что напечатано-то? Хоть что-то мне прочтите.

Я не знаю, что выбрать,— попроще, чтоб не разочаровать.

О небо, небо, ты мне будешь сниться!

Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,

И день сгорел, как белая страница:

Немного дыма и немного пепла!

Моисеенко сидит степенно, руки на коленях, как мастеровой.

— Ну, что ж, ну, что ж...

\* \* \*

Звездные, не без надежды, мерцающие вечера сменяли уничтожающе-зловонные утра. Наружная уборная представляла огромную яму

---

на четыре барака, т. е. почти на полторы тысячи человек, поперек нее — длинные доски в три ряда, свешивались открыто в затылок друг другу. Ранним утром, раз в три дня, приезжали золотари в белых жестких брезентовых спецовках, на низких телегах стояли бочки, обоз — три-четыре лошади. Черпали, расплескивая, загружали, увозили, как раз мимо 11-го барака, рейса по два-три. Все вокруг оставалось забрызганным, запах въедался невыносимый, санитарная бригада так же неряшливо разбрасывала хлорку.

Несколько раз к порогу наметал снег. Мандельштам мерз. Он стелил на нары короткое обтертое пальтишко с хлястиком и укрывался кожаным, сбереженным, под голову — пиджачок.

С середины ноября Мандельштам стал сдавать. Он уже отливал баланду Ковалеву:

— Давай мисочку.

— Что вы, Осип Эмильевич, ешьте сами.

— Я тебе сказал — ставь.

Ковалев вначале стыдился, а потом брал. Уже и от драгоценной пайки отщипывал он Ковалеву. Конечно, не по причине щедрости, Мандельштам просто не ел теперь, а клевал, как воробей. Силы оставляли поэта, Иван Никитич стал приносить ему еду на нары. Пищу у дверей раздавала хозобслуга — из блатных. «На меня и на соседа», — просил Ковалев. «Живой?» — спрашивали раздатчики. Случалось, заключенные придерживали на нарах мертвого и получали

---

на него еду. «Живой? Эй, ты, подними ну-ка голову!» Мандельштам слабо приподнимал: «Прошу вас, пожалуйста...»

Пару раз Мандельштам с усилием встал, вышел на уборку. Но ни лопаты, ни метлы ему не досталось, и он сидел на каменистой земле.

Тогда же, с середины ноября, у Осипа Эмильевича начало дергаться левое веко. И когда поэт читал стихи, и когда говорил и даже просто спрашивал о чем-то, при малейшем напряжении, он как будто подмигивал собеседнику. Молчит — вроде ничего.

На лагерь обрушилось бедствие — вши. Они буквально загрызли грязных, изможденных людей. Заключенные изодрали себя. Этот кошмар Моисеенко вспоминает как один из самых тяжелых за все долгие годы тюрем и лагерей — несметные полчища вшей.

— Белые, здоровые, длинные! Сравнить не с чем. Звери!

Начался сыпной тиф.

2 декабря после завтрака Норонович объявил: «В лагере — карантин. Наш барак уже закрыт. Нам велено каждое утро проводить борьбу со вшами». — «Как бороться?» — «Снимайте белье и давите. Кто откажется — останется без пайки».

— И вот каждое утро раздеваемся, садимся. Я в трусах, Осип Эмильевич в белых байковых кальсонах — тощий, бледнокожий, морщинистый. Сидит, щелкает, как все. А руки потом

---

и не мыли, воды же и попить не хватало. И белье снова то же, грязное, как корка, надеваем. Белье не стирали ни разу. Запотеешь — рубашка, как клеенка. Сидим, щелкаем, треск стоит. Назавтра опять они появляются, такие же большие, белые и страшные. Осип Эмильевич давит и сокрушается: «Тьфу, придумали. Их не переловишь».

До 20 декабря Мандельштам с трудом, но еще поднимался. В изолированном от мира тифозном бараке у него оставалось два-три собеседника. Ближе других артист Смоленского драмтеатра, который выходил на середину барака, к печке, и громко читал сцены из Бориса Годунова, «Записки сумасшедшего» Гоголя, стихи Надсона. Мандельштам вяло сползал с нар и слушал внизу со всеми. Моисеенко долго вспоминал фамилию актера, скрасившего последние недели жизни Мандельштама.

— Забыл...

\* \* \*

Лежали вместе — тифозные больные и здоровые. Каждый день кого-то выносили — либо в маленькую больничку в зоне, либо в морг, что одно и то же, потому что из больнички никто не возвращался. Собственно говоря, это был, скорее, санпункт — утепленная палатка на десяток мест. Деревянный пол, печка-буржуйка. Ни уколов, ни лекарств, хозбригада за ширмой играла в карты или домино. Никто больных

---

не лечил, их просто изолировали. Если голова двигается, сестра приносит еду. Рядом — морг, тоже палатка, только другая — ветер ее колышет, деревянные доски набросаны — земля видна. Лагерная больница, ненамного больше, находилась в зоне уголовников и попасть в нее было невозможно.

Норонович предложил Мандельштаму:

— Может, вас на первый ярус перевести?

— Нет, спасибо, мне там хорошо.

Конечно, подняться с нижних нар можно и без помощи Ковалева, внизу и посидеть удобно. Но внизу — сквозняк, а наверху — потеплее, ноги под себя, снизу и сверху пальто, шапочку вязаную на голову и — на правый бок, лицом к Ковалеву. Наверху и светлее, и писать удобнее. Соседи хорошие, привычные — тебя спросят, ты спросишь. И обзор — все видно, кого уносят, а кто еще бродит, доживает.

Но главное, уносили-то именно с нижних нар, на нижних — засвечивались, а на третьих — не видно.

Приходил наголо стриженный лечпом с кучей термометров в нагрудном кармане:

— Больные есть?

— Есть, есть, сюда идите, — выдавали соседи сразу в трех-четыре местах.

Больные не признавались, что больны, некоторые плакали, просили не забирать, совестили соседей: «Ты меня на смерть отправляешь...» Из других углов одергивали: «Что же ты, сука, сдаешь? Завтра тебя заложат». Лечпом каждый

---

раз делал вид, что забирает в лагерную больницу, но все знали, что четверо таких же стриженных бытовиков в серых халатах уносят практически в морг.

Каждый думал о себе, и всякий раз лечпому выдавали новые жертвы.

Ни одного дня ни одни нары не пустовали. Тут же приводили новенького, и он занимал освободившееся место. После покойника нары не дезинфицировали, даже не обтирали.

Мандельштаму продлил жизнь не только третий ярус, но и соседи. Ковалев все ходил за едой, пытался с ним говорить. Осип Эмильевич лежал молча, изредка поворачивал к нему голову: жив, слышу, слушаю.

На сколько он продлил себе жизнь? Может быть, на неделю.

После 20 декабря он не вставал, лежал, руки на груди. Поскольку его нары были недалеко от входа, всех умирающих проносили мимо него.

Норонович спрашивал:

— Врача вызвать?

Мандельштам отвечал едва слышно:

— Нет. Ни в коем случае.

Было странно, что он еще жил, — казалось, душа его уже давно на небе, а тело необъяснимо задержалось на земле. Соседи по нарам увидели вдруг главное качество этого человека. Моисеенко говорит тихо и скорбно, словно это происходило вчера:

— Такой он был хилый и беспомощный, и вдруг такой духовно сильный. Тихое мужество.

---

За все время он ни разу не пожаловался. Ни разу! А ведь при тифе головные боли, температура, жар. Ни разу. Что там тиф... у него душа была больна. Ковалев или Лях спросят: «Как самочувствие, Осип Эмильевич?» Он отвечал только: «Слабею».

— Когда он заболел тифом?

— Дня четыре болел, не больше. Лежал без движения, у него, извините, из носа текло, и он уже не вытирал. Лежал с открытыми глазами, молчал, а левый глаз дергался. Да, молчал, а глаз подмигивал. Может быть, от мыслей. Не мог же он доживать, ни о чем не думая.

## Глава 8

О нем написано теперь больше, чем написал он сам. Среди воспоминаний разных лет встречаются и такие:

«Мандельштам был большой чудак, никто никогда не знал, как он себя поведет, но все его знали и все прощали. <...> Был чистый еврей» (Мария Ливеровская, современница поэта).

Александр Блок — из дневника: «Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, «жидочек» прячется, виден артист».

Конечно, словами «„жидочек“ прячется» (они изымались из всех советских публикаций более семидесяти лет) Блок хотел усилить свою мысль: Мандельштам «очень вырос», в нем виден подлинный художник. Однако само подчеркивание...

Мне знаком национальный тип еврея, украинца, русского. Я понимаю также, какие нацио-

---

нально-вульгарные черты подразумеваются у тех, кого кличут — жид, хохол, русопят. Я не понимаю, однако, какое все это имеет отношение к Мандельштаму. Сегодняшнее время наглядно показывает всем нам, что выяснять «чистоту происхождения» просто бессмысленно. В нынешнем перевернутом, вздыбленном мире национальные черты — и достойные, и дурные — перемешались в людях, перетекают от одного народа к другому, как в сообщающихся сосудах.

Осип Эмильевич считал себя русским поэтом, этого достаточно. Что касается его пороков и достоинств, нужно отделить житейское от жизненного. И капризы, и неряшливость, даже неотданные долги — житейское. Деньги он брал, чтобы тут же бездумно потратить. Он считал, что все подают ему... на поэзию. Более того, считал, что ему обязаны подавать. Вот откуда нищее величие. В определенном смысле был он избалован, истинные редкие ценители поэзии нянчили его. А без них, не имея государственного хлеба, как бы он жил?

Быт, уклад, вся жизнь говорят о том, что к любому имуществу и деньгам он был безразличен.

Когда в первый же санаторный день к нему подходит вальяжный летчик — в форме, со свитой: «Не прочтете ли что-нибудь?» и поэт отвечает: «А если я попрошу вас сейчас полетать?», раздраженно объяснив, что стихи — работа для него, а не развлечение (вечер был для всех испорчен), здесь уже не каприз, не блажь,

---

здесь — жизненное, священное. Далеко не все понимали это.

Увы, он, кажется, узнал о выпаде Блока, грех ему этот отпустил. Они не были никогда близки, но, по словам Одоевцевой, Мандельштам, узнав о смерти Блока, плакал по нему, «как по родному». В августе 21-го, в связи со смертью Блока, Мандельштам прочитал о нем доклад в Батуми; 7 февраля 1922 года выступил на вечере памяти Блока в Харькове; в 1935 году для Воронежского радио подготовил передачу о Блоке. Эти поступки многого стоят, ибо Блок был первой жертвой советской власти.

Полмесяца спустя был расстрелян Николай Гумилев.

В августе 1928 года, в годовщину гибели Гумилева, Мандельштам из Крыма написал Ахматовой:

«Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми — с Николаем Степановичем и с вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется».

В Воронеже Мандельштама заставили прочесть доклад об акмеизме, организаторы надеялись, что загнанный поэт отступится от друзей. Год — 1937-й, шанс ухватиться за соломинку был. Но Мандельштам сказал:

— Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых.

Как сказала Ахматова, это «не должно быть забыто».

---

Поэт достойно, по чести, отдавал дань ушедшим, дань времени, изничтоженного, не сохранившего даже афиш, на которых их имена стояли рядом — Блок, Гумилев, Мандельштам.

В последние три года его жизни — период кровавых сталинских чисток — набрали силу единодушные резолюции советских писателей, они стали обычаем. Вот примеры 1936—1938 годов. «Смерть врагам народа!» — редколлегия «Литературной газеты»; «Их судит весь советский народ» — Михаил Слонимский, Александр Прокофьев, Алексей Толстой, Борис Лавренев, Евгений Шварц; «Смерть врагам народа!» — Всеволод Иванов; «Не может быть пощады!» — Юрий Тынянов; «Маски сорваны!» — А. Новиков-Прибой; «Смерть бандитам!» — резолюция митинга советских писателей Киева; «Отрубить голову!» — Б. Лавренев; «Расстрел фашистских убийц!» — Чиковани, Эули, Дадиани, Машашвили, Радиани, Гаприндашвили, Горгадзе, Абашидзе, Шенгелая, Абашели, Киачели, Гомиашвили, Мосашвили.

Ни в одной карательной резолюции нет подписи Мандельштама. И это тоже не должно быть забыто.

Единственное коллективное письмо, которое он подписал в 1924 году вместе с Есениным, Пильняком, Бабелем, Волошиным, Зощенко, Кавериным и другими, — решительный протест в Отдел печати ЦК РКП(б) против огульных нападок на писателей: «...Мы считаем нужным

---

заявить, что такое отношение к литературе не достойно ни литературы, ни революции ⟨...⟩».

Эти черты — бессмертны, они соединяют Поэта и Личность.

\* \* \*

Опять я вспомнил — Голлербах о Мандельштаме: «К нему бы нужно приставить хорошую русскую няню, которая мыла бы его и кормила манной кашей».

...Вот и дождался он в конце жизни русской няни, которая кормила его с рук.

Я пытаюсь выяснить: за что так проникся смиренный, замкнутый малограмотный Иван Никитич Ковалев к своему высокообразованному неуживчивому, загадочному соседу. Деревенский пчеловод, не понявший ни одной строки из тех, что были поэту дороги. Не за харчи, нет. Он получал их позже, не без стеснения. И не за новости с воли, которые поэт перерассказывал ему. За что же? Пытаюсь разгадать простую по сути истину: за что должен ближний возлюбить ближнего.

— За беспомощность.— Моисеенко грустно качает головой.— Осип Эмильевич приручил Ковалева своей беспомощностью. Иван Никитич был добрый и совестливый. Он, знаете ли, когда все спят, украдкой крестился, я видел.

Славянская душа, как принято говорить. Христианин.

---

\* \* \*

Много вымысла о лагерной жизни Мандельштама — от романтических легенд до низменных небылиц. Вымысел, повторенный Эренбургом, о том, что больной поэт у костра читал сонеты Петрарки; что стихи о Сталине готов прочесть был любому за одежду, еду, курево; что чуть ли не били его и собирались побить за хлеб, схваченный до раздела; что съедал за другими остатки пищи и облизывал чужие миски; что врачи устроили поэта «на работу» — сторожить одежду покойников за харчи и тулуп; что читал стихи уголовникам — самая распространенная и едва ли не самая красивая легенда: чердак, свеча, посредине, на бочке, царское угощение — консервы, белый хлеб. Романтические уголовники и отверженный поэт...

— Самый ушлый блатной не смог бы провести Мандельштама через две запретные зоны — к уголовникам, — говорит Моисеенко. — Может быть, это и было. Значит, сработали осведомители НКВД, чтобы намотать поэту новый срок. Тем более там оказался и безымянный физик Л. Как свидетель...

Воспоминателей — десятки, больше других преуспел доктор биологических наук Василий Меркулов — «брянский агроном».

— Зачем все это? — размышляет Моисеенко. — Там было столько правды, что лгать-то зачем? Хотят себя отметить. Я выдумывать ничего не могу, я только вспоминаю живое прошество.

---

Много вымысла о лагерной жизни поэта. Еще больше — о смерти. И опять — либо романтика, либо самое низменное. Умер от голода, копясь в куче отбросов... На нарах, умирая, в бреду читал обрывки своих стихов... С парохода, ушедшего на Колыму, его, мертвого, сбросили в океан... Уголовники среди ночи разбудили какого-то поэта Р., привели его, перепуганного, к себе, там умирал Мандельштам, и поэт закрыл глаза поэту... Умер в лагерной больнице от тифа... Его убили уголовники... Пристрелили при попытке к бегству... Получил новый срок и в начале пятидесятых годов повесился, испугавшись письма Жданова, которое с опозданием дошло до лагерей.

Надежда Яковлевна так и не сумела отыскать ни одного свидетеля смерти мужа.

\* \* \*

Моисеенко аккуратен, час и минуту смерти назвал, а день — не решился: дня за три-четыре до Нового года...

Да, это случилось 27 декабря 1938 года.

— Мы почти месяц пробыли вместе — больные, умирающие, здоровые — взаперти. После завтрака открывается дверь: «Ваш барак идет на санобработку. Приготовьтесь, по 20—25 человек». Наша группа отправилась третьей, значит, мы вышли около половины двенадцатого. Там ни мыла, ни мочалки, ни воды, просто прожаривали одежду — прожарка, так и называлась.

---

Осип Эмильевич последние дни лежал — в рубашке, брюках. Он приподнял голову, медленно посмотрел по сторонам, сел на нары. Ковалев улыбнулся ему:

— Ну что, Осип Эмильевич, пойдете купаться.

Мандельштам посмотрел так на него и отвернулся. Он был слаб, слаб. Долго обувался на нарах, ботинки у него были с дырочками для шнурков, а сверху — крючки. Шапочку зеленую надел — такая фасонная, интеллигентская, видно, что из большого города: плетеный хлястик над козырьком и с пуговками. Пиджак надел. Он очень долго копался. Мы уже все сошли и у дверей его ждали. Минуты три-четыре. Нет, нет, что вы, никто не ругался, наш ряд весь его уважал. Ковалев Иван Никитич держал его: он сначала постоял ногами на вторых нарах, потом ступил на пол... И по бараку побрел едва-едва, ссутулившись — голову опустил, ко всему безразличный. Он уже, знаете ли, был отключен. У дверей мы их с Ковалевым пропустили, а на улице опять обошли.

День был ясный. У меня было пальтецо студенческое, я его даже в рукава не надевал — на плечи накинул. До прожарки сотня шагов, идти нетрудно, там спуск. Но надо осторожно, вместо ступенек — каменные надолбы, неровные, бесформенные. Шли свободно, не строем. У дверей прожарки остановились, опять ждали, когда Осип Эмильевич спустится. Нам сказали — всю одежду забрать, и у многих узелки были. А у

---

Мандельштама ничего не было, что-то через руку перекинул. Что? Не знаю, я же не следил, я же не знал, что этот человек сегодня утратит свою жизнь. Что у него: рубашка нательная, майка, кальсоны да две рубашки.

Они медленно спускались. Ковалев держал его за локоть, Осип Эмильевич что-то отвечал ему, но голову так и не поднял. Он месяц на воздухе не был.

Нам открыли изнутри. Мы разделись, повесили одежду на крючки и отдали в жар-камеру. Мандельштам раздевался с трудом, Ковалев все его белье последним развесил и тоже отдал. Желтое пальто выбросили нам обратно: «Кожу нельзя, покоробит». Мы не сидели, даже не стояли — ходили. Холодина, как на улице. Все дрожали, а у Осипа Эмильевича костяшки ну прямо стучали. Вы знаете, когда мне показывают Освенцим, я отвечаю, что я все это видел еще до войны. Он просто скелет был, шкурка морщенная.

— Еще хоть кто-то был такой в лагере?

— Нет. Может быть, Моранц. Ученый. Он тоже в нашей группе оказался. Но тот все же покрепче. Мы кричим: «Скорее! Заморозили!» Ждали минут сорок, пока не объявили: идите, одевайтесь. Это — на другой половине. Впереди всех по своей привычке двинулся Осип Эмильевич.

В нос ударил резкий запах серы. Сразу стало душно, сера просверливала до слез. Была бы хоть дверь открыта, вытяжки же никакой... Ковалев успел взять ему из кучи крюк с бельем,

---

и мы еще сказали: «Осип Эмильевич, осторожно, крючок горячий, руки жжет». Он сделал шага три-четыре, отвернулся от жар-камеры, поднял высоко так, гордо голову, сделал длинный вдох... Левую руку он успел положить на сердце и правую подтянуть и — рухнул. Как-то неловко, лицом вниз, немного на правый бок. Пол был деревянный, некрашенный, грязный. Мы закричали в камеру:

— Человеку плохо!..

Лицо он не разбил, он за сердце когда схватился, руки впереди оказались. Кто-то перевернул его на спину. Глаза уже были закрыты, а рот приоткрыт. Я за него не брался, прямо скажу: как-то подействовало плохо... Ковалев подобрал руки, на живот положил и стал искать пульс. Кто-то сказал: «Готов». И в это время — шум: падает второй... Моранц! Он сидел на скамейке и упал. Или на него это все подействовало...

Мы растерянные были и напуганы: два покойника, что вы, за одну минуту. Один из дезинфекторов, высокий, лысый, в сером форменном халате, положил руку под голову Осипу Эмильевичу, потрогал челюсть, и рот закрылся. Одна нога у него, как от судороги, дернулась и легла рядом, ровней.

Он и живой-то от мертвого не отличался. Но тут лежал страшный: худой, синюшный, ребра — хоть считай.

Вошла врач с чемоданчиком и с ней мужчина.

— Накройте хоть чем-нибудь.

---

Ковалев снял с крючка рубашки Мандельштама и накрыл по грудь. Трубки у нее не было никакой, она не слушала. Подняла его левую руку, искала пульс. Потом возле уха пульс искала. Из правого кармана вынула зеркальце и поднесла ко рту. Отняла, посмотрела, протерла и снова поднесла. Все эти 15—20 минут стояла тишина. И она сказала мужчине, который с ней пришел:

— Что смотрите? Идите за носилками.

И нам, мы же стоим кто в чем:

— Что стоите? Одевайтесь.

Принесли банку сулемы, и рабочий из obsługi кисточкой, просто пучок волос перекрученный, обрызгал тело. Дезинфекция: все-таки в прожарке, не в бараке. Сулема — сивая, густая, мутная, запах от нее — жуткий. Блатняки из obsługi уложили его на простынь — на носилках — и этой же простынью его обвернули. Они испачкали руки сулемой и ругались: «Фу, б..., зараза». Вытерли о простынь, у ног, подняли и унесли.

Вещички его сложили в желтое кожаное пальто, завязали. Они тифозное должны сжигать, но брали себе, продавали. Для Левы Гарбуза этот день был бы праздником.

...В бараке на нас зашумели: «Чего так долго? Всех задержали».

— Умер Мандельштам.

Кто-то сказал:

— Наш Моранц тоже умер.

И тогда все притихли. Замкнулись. Жалели его, да.

---

А через два дня на место Осипа Эмильевича положили новичка, и о нем уже забыли. Каждому было дело только до себя, до своей безвестной жизни.

А Ковалев — да, долго тосковал. Он был недалекий по образованию — Иван Никитич, другой совсем, а тосковал: «Ушел мой товарищ». Кто-то сказал:

— Да-а, теперь тебе баланды не обломится.

\* \* \*

Дальше было все, как при жизни, — сплошная ложь.

Лагерный врач Кресанов и дежурный медфельдшер составили **«акт № 1911»** о том, что Мандельштам Осип Эмильевич 26/XII—38 г. был положен в стационар, находился в лагерьной больнице под присмотром врачей, там и скончался на другой день. **«Причина смерти: паралич сердца а/к склероз».**

**«Труп дактилоскопирован 27/XII»** — тоже ложь. Он валялся бесхозным, неостребованным четыре дня — на свалке трупов.

Тело не вскрывали, — было не до этого, не успевали.

Но почему же фельдшерица, спрашиваю я Моисеенко, зеркалаще протираала и опять ко рту подставляла? Запотевало?

— Кто ее знает. Мы же растерянные были...

— А бывало, что обреченных, но еще живых в морг отвозили?

---

— Ну... я же вам рассказывал...  
Да нет, мертвый он был, конечно. Конечно,  
умер. Почти конечно...

\* \* \*

Из «Четвертой прозы» Мандельштама:

«На таком-то году моей жизни бородатые  
взрослые мужчины в рогатых меховых шапках  
занесли надо мной кремневый нож. <...>

И все было страшно, как в младенческом  
сне. <...> — на середине жизненной дороги я был  
остановлен в дремучем советском лесу разбой-  
никами, которые назвались моими судьями. <...>

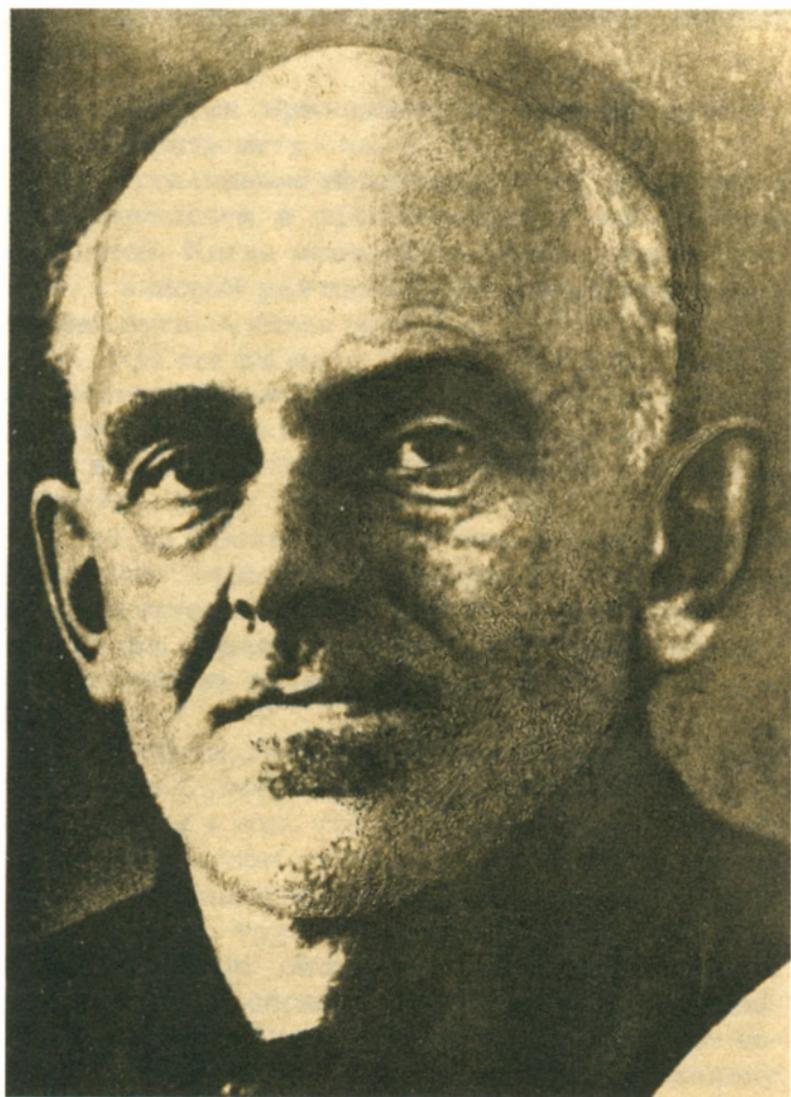
Первый и единственный раз в жизни я пона-  
добился литературе, и она меня мяла, лапала  
и тискала, и все было страшно, как в младен-  
ческом сне».

«У меня нет рукописей, нет записных книжек,  
нет архивов. <...> Я один в России работаю  
с голосу <...>».

«Я китаец, никто меня не понимает. Хал-  
ды-балды!»

«<...> Что это я все не так делаю. <...>  
Оттого-то мне и годы впрок не идут — другие  
с каждым днем все почтеннее, а я наоборот —  
обратное течение времени.

Я виноват. Двух мнений здесь быть не может.  
Из виновности не вылезаю. В неоплатности живу.  
Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне еще из-  
ворачиваться?»





---

〈...〉 Меня принимают за кого-то другого. Удостоверить нету сил. 〈...〉

Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю — никак не могу привыкнуть — какая честь!

〈...〉 И все им мало, все им мало... С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему?»

Еще из прозы Мандельштама — маленького бесхозного отрывка неизвестных лет: «...Прообразом исторического события — в природе служит гроза. Прообразом же отсутствия событий можно считать движение часовой стрелки по циферблату».

В Чердыни, где ему мерещились грубые мужские голоса, поносящие его отборной бранью, упрекающие в том, что он сгубил столько людей, прочитав им свои стихи, — голос называл имена им погубленных, как подсудимых; в Чердыни, где он искал труп Ахматовой в оврагах; там, в Чердыни, он смотрел на большие стенные часы и ждал расправы. Приход убийц он назначал на какой-нибудь час и в страхе ждал их: сегодня — в шесть вечера... Наденька потихоньку переводила стрелки: «Смотри 〈...〉 уже четверть восьмого»...

Обман удавался, «смерть» отступала, страхи проходили.

---

...Если бы Дантес и Мартынов промахнулись. Если бы в роковой час смятения и одиночества возле Есенина оказались люди. Если бы женщина, оказавшаяся возле Маяковского, сказала в тот момент безоглядно: «Да». Если бы. Почти всегда выстраивается запоздалое, наивное — если бы.

Конечно, если бы. В тот полдень, 27 декабря 1938 года, просто некому было перевести стрелку часов. На час, на два, на пару веков.

Смерть была не романтической, не мучительно-жестокой, не насильственной от рук уголовного. Она была будничной и мгновенной. Смерть — на конвейере, кровавый маньяк — Родина.

Страшнее, страшнее-страшнее, чем в младенческом сне.

...Говорят, что теперь в некоторых, кажется азиатских, странах беременная женщина нашептывает своему будущему ребенку, что́ ждет его на земле, и он сам, еще в утробе, решает — родиться ему или нет.

Теперь уже, кажется, выяснили, что́ видит и чувствует в предсмертный миг покидающий землю: тоннель, скорость, свет...

В блаженный короткий миг Осип Эмильевич Мандельштам увидел после тоннеля райскую зеленую поляну, освещенную солнцем. Сидели на ней Наденька, дожившая до преклонных лет, и красавица-самоубийца Оленька Ваксель — Лютик. Обе молодые, рядышком, как девочки-сестры. Также были тут полковник Белой армии Цыгальский, интеллигент, спасший Мандельшта-

---

ма из врангелевских застенков, и рядом — красноармеец Оська, провожавший поэта в застенки советские. Они тоже были вместе и вполне понимали друг друга. Конечно, были здесь, на светлом лугу, и Анна Андреевна, и Илья Григорьевич. И Марина с Сережей Эфроном, юные, только что поженившиеся. Должен был быть и Макс, если Осип Эмильевич успел его рассмотреть.

Сладкий миг — до остановки сердца.

Лучшее, что было на земле, — расставание с землей.

\* \* \*

В России всегда были люди, жившие по-божески, он — один из них.

«Я не научился любить Родину с закрытыми глазами», — говорил Чаадаев, объявленный сумасшедшим. В этом состояла и вина Мандельштама, можно сказать, наследственная вина лучших русских поэтов.

\* \* \*

Бытовики при покойниках — блатные — жили прилично. Откроют мертвый рот, ножичек к золотому зубу приставят — коронка слетает. Но быстрее и проще — клещами. Золотое кольцо намылят — снимают. Но опять же проще — отрубали палец.

— Во Владивостоке у них была своя скупка. Они, видимо, делились и с лагерной админист-

---

рацией. У них — и масло всегда, и колбаса, от них водкой пахло. У Осипа Эмильевича на пальцах ничего не было. Золотые коронки — да. Одна сверху и две или три снизу.

Последним, кто видел поэта из ныне здравствующих, — ленинградец Дмитрий Михайлович Маторин. В тот же день, 27 декабря, — он тоже помнит его ясным и теплым — к нему на лагерном дворе обратился Смык, начальник лагеря: «Отнеси-ка жмурика».

— Прежде чем за носилки взяться, я у напарника спросил: «А кого несем-то?» Он приоткрыл, и я узнал — Мандельштам!.. Руки были вытянуты вдоль тела, и я их поправил, сложил по-христиански. И вот руки — мягкие оказались, теплые и очень легко сложились. Я напарнику сказал еще: «Живой вроде...» Конечно, это вряд ли, но все равно и теперь мне кажется: живой был... Несли мы его к моргу, в зону уголовников. Там нас уже ждали два уркача, здоровые, веселые. У одного что-то было в руках, плоскогубцы или клещи, не помню.

«Протокол отождествления» под грифом «секретно» свидетельствует, что старший дактилоскопист ОУР РО УГБ НКВД по «Дальстрою» тов. Повереннов произвел сличение «пальце-отпечатков» Мандельштама 31 декабря. Это значит, что заворачивали поэта в тряпье, грузили на телегу с другими вместе, увозили за ворота и сбрасывали в одну из ям, которые заключенные копали сами для себя, — в ночь под Новый год, 1939-й.

ПРОТОКОЛ ОТ ОЖИДАТЕЛЬНИКА

1938 г. 24 декабря м-ца 24 дня г. ВЛАДИВОСТОКА.

г. Дарки на дактилоскоп СУР РО УГВ ЯВид по "ДАЛЬ ДРОС" ОБЪЯВЛЕНОВ

составил сличения по отпечаткам пальцев - от отпечаткам снятых на  
инфо-карте указанного а/к. 24 декабря 1938г.

по следующему в дн части ДМ: согласно ротовой карточке по фамилии,.....  
Мандельштам Осип Эммануилович

..... о пальце-отпечат-  
ки на дакто-карте, зарегистрированной на имя Мандельштам  
Осипа Эммануиловича

этом на личного дела л. 117-794

ЗАМЕЧАЮ: что строения по идиальных линиях, узоров и характерных особенностей  
а пальце-отпечатков с обоими сличаемым дакто-картам между собой.....

государственного технического управления Владивосток  
контрреволюция 13/83495 ..... и принадлежит. а/к  
117-73565

лицу, и т.п. на лицу.....

СТ. ДАКТИЛОСКОП СУР РО УГВ ЯВид  
по "ДАЛЬ ДРОС" 2

*[Handwritten signature]*  
/ ПОВЕРИТЬ



---

---

\* \* \*

Была у Юрия Илларионовича Моисеенко мечта — получить высшее образование. Он окончил педагогический техникум, из белорусской глубинки приехал в Москву, поступил в юридический, прямо с институтской скамьи его и забрали. После 12 лет тюрем и лагерей все вузы для него закрылись.

— Вы знаете, жизнь сгорала кратко, как свеча.

— Ничего,— пытаюсь успокоить,— вы еще крепкий.

— Крепкий. Да. А смерть все равно придет.

— Не страшно?

— Нет. Ничего дорогостоящего в моей жизни не было. Вся моя жизнь — из мук и страданий. Зачем я жил?

Увожу разговор к сегодняшней жизни — к последнему президенту СССР, к Президенту России.

— А я, знаете,— виновато говорит Моисеенко,— в этих разговорах не участвую. Извините. И когда у нас на работе соберутся: «Убирать его пора, надоело!»— я уйду, знаете. ...Еще все может повториться. Вы это не пишите, но сейчас опять права у КГБ расширяются. И теперь таких, как я, подбирать сразу будут. Без суда и следствия. Ну и что ж, что реабилитирован. Дорогой где-нибудь и убьют. Я не за себя даже — за детей...

Там, в лагере, ему снился дом, отец с ма-

---

терью, студенческое общежитие. Двенадцать лет ему снилась воля.

А когда вышел, на воле ему снились те двенадцать лет. Он уже женился, подрастала дочь, а ему снился лагерь, снилось даже, что его расстреливают, и он просыпался в поту. Его бы и расстреляли в Смоленской тюрьме — непременно — в 41-м, когда наступали немцы, если бы не второй приговор и этап.

Пересылка погубила Мандельштама и спасла Моисеенко.

— Я эти ночи, как вы приехали, не сплю. Какую же мы пережили эпоху! За что, скажите, страдали, а? Я храню портрет Хрущева в рамочке. Я ценю его подвиг, это ж он закрыл гильотину эту. Только недавно дети сказали: сними ты его, о нем уже другое говорят.

Моисеенко «Известия» выписывает давно. Я ему представился: «Специальный корреспондент». Фамилию назвал, а он мне — мое имя. Я расспрашивал его подробно о пристанционных тупиках в пути, о птицах и полевых цветах за вагонным арестантским окном, о погоде, о том, какие звуки проникали в лагерь с воли, просил нарисовать нары в вагоне, в лагере и где была больничка, и вышки, и бочка с водой. Он посмотрел на меня внимательно:

— Извините, а вы не работник КГБ?

Мне стало весело, и он неловко улыбнулся.

Как же непоправимо загублена жизнь человека.

---

\* \* \*

А может быть, прав он в смысле нынешнего времени? История разворачивается так круто, что вместо 180° вновь прокрутилась на 360°. Она снова двигается в том же направлении, с той же скоростью. И мы, как всегда, не готовы к новому повороту.

Поэта реабилитировали, как казнили, — с той же неряшливостью и небрежностью: «на волне». Вначале, в 1956-м, — по второму делу. Классический набор: «**Конкретных обвинений Мандельштам предъявлено не было**», «**По делу допрошен только сам Мандельштам, который виновным себя не признал**» и т. д. В итоге:

Лист дела 31.

«29 августа 1956 г. Справка.

Дана гр. Мандельштам Осипу Эмильевичу, 1891 года рождения в том, что определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 31 июля 1956 года постановление Особого Совещания при Народном комиссаре внутренних дел СССР от 2 августа 1938 года в отношении его отменено и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления».

Вы поняли? Это пишет «зам. Председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР И. Аксенов». Он сообщает самому казненному поэту о том, что 18 лет назад тот казнен был по ошибке.

---

Реабилитация по другому делу — первому — затянулась. Выручил столетний юбилей поэта. «В связи с письмом Союза писателей СССР» провели новое расследование. К 99-летней годовщине и прежде, не к годовщине, — можно оставаться виновным, но к столетию — стыдно. Работа продлевается огромная. Разыскиваются бывшие следователи. А зачем? «Христофорыч», специалист по писателям, сам был расстрелян — тогда же. Разыскиваются родные и близкие поэта, рассылаются запросы в адресные столы. А их, родных и близких, уже нет давно, поумирали. Допрашивается «свидетель» Лев Николаевич Гумилев — семидесятипятилетний, больной, в следственный отдел КГБ СССР пишут свои «отзывы» Вениамин Каверин и Иосиф Прут. Все трое высочайше оценивают поэзию Мандельштама, и показания их подшиваются в «дело».

А если бы он был плохой поэт, тогда что? Если бы он был вообще не поэт, а дворник? Да просто тунеядец? Что это меняет по сути: виноват — не виноват?

Все есть в этом деле — протоколы допроса, протоколы осмотра. «Осмотрена» была книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Понятые — москвички Маслова Галина Семеновна и Горбачева Маргарита Игоревна. Дело понятых зафиксировать книгу — название, объем, издание, содержание. Но они, как «искусствоведы в штатском», дают ей оценку: «...автор явно тенденциозно...», «Н. Я. Мандельштам клеветнически утверждает»...

---

Все собрано — и «за», и «против».

Все как прежде: «13.07.87 г. Секретно. Начальнику КГБ Чувашской АССР генерал-майору тов. Позднякову А. Я. <...>

Из материалов уголовного дела усматривается, что в 1956 году Мандельштам О. Э. вместе со своей супругой — Мандельштам Надеждой Яковлевной — проживал в гор. Чебоксары, ул. Кооперативная, д. 8, кв. 16-а.

В связи с изложенным просим Вашего указания проверить и сообщить, не располагает ли отдел КГБ Чувашской ССР архивными материалами в отношении Мандельштам О. Э. и в положительном случае направить их в наш адрес.

По миновании надобности материалы будут Вам возвращены.

Помощник начальника Следственного отдела КГБ СССР полковник юстиции К. Г. Насонов».

Полковник КГБ просто не читал дела. Мандельштама, пролистал бегло, все перепутал.

Но зачем эта видимость усилий, эта «волна»? Постановление ОСО как внесудебного органа следовало просто признать недействительным. Всего-то. Мандельштам становился бы невиновным автоматически, как миллионы других.

Реабилитировали полностью, в срок — к обеденному столу. И, как казнили когда-то, снова под грифом «секретно».

...Это был один из лучших поэтов XX века. Если не лучший. Кто не знает этого, пусть поверит Ахматовой. И он еще будет народным, когда

---

весь народ станет интеллигенцией. Сто лет для этого слишком мало.

Слепая ласточка в чертог теней вернется,  
На крыльях срезанных...

\* \* \*

Нельзя прощать советской власти без покаяния даже одну эту смерть, даже ее — единственную.

Встанет ли когда-нибудь наконец Родина на покаянные колени — перед собственным народом?

\* \* \*

31 января 1939 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР за подписями М. Каплинина и А. Горкина: 21 писатель был награжден орденом Ленина, 49 — орденом Трудового Красного Знамени, 102 — орденом «Знак Почета». 5 февраля «Литературная газета» опубликовала списки награжденных.

В день публикации почтовая барышня вернула Надежде Яковлевне посылку — «за смертью адресата». Евгений, ее брат, помчался в писательский дом, в Лаврушинский переулок — к Шкловскому. Его вызвали из квартиры Катаева, где орденосцы отмечали награды. Как говорят, Фадеев был пьян, расплакался:

— Какого поэта мы погубили...

Не знаю, в этой ли компании или в другой веселились Ставский и Павленко.

В главном управлении лагерей.  
137 ВЗ/2844

Мне известно, что мой муж заключенный  
Мандельштам Осип Эмилевич умер во  
вредовоюке (С.В.И.Т.Л. 11 барак. 5 лет КРД),  
и мне была возвращен денежный перевод "за  
карты адреса". Дата смерти определяется  
между 5/хII 38г и 10/1 1939г.

Прошу управление лагерей проверить мои  
сведения и выдать мне официальную  
правку о смерти О.Э. Мандельштама.

Надежда Мандельштам

Ответ прошу сообщить по адресу:  
Москва Старосадский №10 кв 3  
Александр Эмилевичу Мандельштаму

Имена в данное время адреса нет, т.к.  
ремесная моя профессия в Москве кончилась  
и я пишу помещению поу Москвит.



1939

13-3/2844

11

3-2/2899

Мангустовос

Оршн Емилевар.

ОСНКВД сеп 27/II-38.

Крп

5 лет.

Умер 27/II-38.

в Влагильетакв

25/II-39 рук убиты. Исмарета



---

Инициатор и организатор ареста (путевки!) Владимир Ставский был награжден орденом «Знак Почета». Содоносчик и тайный соглядатай на допросе Петр Павленко — орденом Ленина.

\* \* \*

По-разному, противоположно ощущали себя всю жизнь солагерники Мандельштама. Ленинградец Маторин чувствовал себя уверенно, он оказался среди своих — ленинградцы чуть не все перестрадали. А Моисеенко у себя — чужой. В его родном белорусском райцентре таких «контриков», как он, всего трое, а остальные — тысячи — воевали, в том числе в окрестных партизанских лесах. Как-то, уже работая управдомом на железной дороге, пришел вместе со своими 9 Мая на площадь. Праздник — оркестр, цветы. К Юрию Илларионовичу подошел пьяный подполковник в отставке: «А ты что, гад, здесь делаешь?» Подполковник был нештатным инструктором райкома партии — Бочаров Федор Иванович, Моисеенко стал тихо просить его: «Ну что вы, за что же вы на меня...» — «Убирайся отсюда сейчас же!» И Моисеенко покорно ушел.

Хотимск — местечко почти еврейское. И когда Моисеенко вернулся из лагерей, друзья оказались расстреляны — на окраине города, возле льнозавода. Сестра рассказала:

— Знаешь, Юра, у нас была одна семья благородная, из Минска приехали, — учитель и

---

учительница. Когда немцы угоняли их в гетто, они девочек на улице оставили. Фаня и Циля. Одной четыре годика, другой шесть. Такие хорошенькие были. И вот они ходили по домам, попрошайничали, такие смиреннькие, обнятые, и их все подкармливали, а в дом никто не пускал, боялись: «Ну, идите, идите, деточки, от нас». И они в сараях спали, в стогах сена... Знаешь, Юра, чем кончилось? Они бродили август, сентябрь, октябрь. Уже холодно было. И потом Ходора Остроушко, наша соседка, сказала: «Что эти дети так мучаются?» Взяла их за ручки и отвела в немецкую комендатуру. Их там, прямо во дворе, и расстреляли...

Господи, думаю я, слушая пересказ, да ведь это о бесприютных Осипе и Наденьке при советском режиме. Это же мы, мы, Господи. И свои ставские здесь, и павленко.

Да, это мы. И мы — сегодняшние, пытающиеся многое и многих оправдать. Когда пришла Красная Армия, Ходору судили. Дали 10 лет. Но горожане во главе с председателем горисполкома возмутились приговором, ходатайствовали — Ходора же детей от мук спасала, — и она, отсидев полсрока, была освобождена.

Это — мы, мы все.

Из первого письма Осипа Наденьке, 5 декабря 1919 года. Из врангелевского Крыма:

«Дитя мое милое!

⟨...⟩ Я радуюсь и Бога благодарю за то, что Он дал мне тебя. Мне с тобой ничего не будет страшно, ничего не тяжело. ⟨...⟩

---

Прости <...> что я не всегда умел показать, как я тебя люблю.

Надюша! Если бы сейчас ты объявилась здесь — я бы от радости заплакал. <...> Дочка моя, сестра моя, я улыбаюсь твоей улыбкой и голос твой слышу в тишине. <...> Мы с тобой, как дети, — не ищем важных слов, а говорим, что придется.

Надюша, мы будем вместе, чего бы это ни стоило, я найду тебя и для тебя буду жить <...>. Твой О. М.: „уродец“».

Из последнего письма Наденьки Осипу. 22 октября 1938 года:

«Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.

Осюша — наша детская с тобой жизнь — какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу?

Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоем? <...> Наша счастливая нищета и стихи. <...>

Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка — тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь...

---

---

Мы, как слепые щенята, тыкались друг в друга, и нам было хорошо. <...>

Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, и ты не отвечал.

<...> Я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе... Ты всегда со мной, и я — дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, — я плачу, я плачу, я плачу.

Это я — Надя. Где ты?

Прощай. Надя».

Если бы Дантес и Мартынов промахнулись...

Если бы Осип успел получить это письмо... он бы не умер.

\* \* \*

Там, на небе, души не живут поодиночке. Они опять будут вместе. Будут жить — с другими наравне. Жаль только, что никто, ни один поэт еще не подал оттуда ни одного знака, не обронил на землю ни одной строки, хотя бы в прозе.

Еще жаль, если он по своей рассеянности не попадет в рай.

Да куда бы ни попал, хуже, чем на земле, не будет.





## От автора

*Я глубоко благодарен современникам Мандельштама, оставившим для потомков драгоценные воспоминания о нем, а также сегодняшним исследователям жизни и творчества поэта. И. Эренбург, В. Вересаев, В. Каверин, Л. Арнс, П. Лукницкий, Н. Готхарт, Е. Тагер, В. Купченко, П. Нерлер, А. Гришунин — свидетельства и исследования их, а также тех многих, кто упомянут в книге, помогли мне в работе.*

*Я заранее благодарен и тем, кто придет потом, вслед, взявшись за очередные уточнения и дополнения. Ибо, как сказал сам поэт в «Четвертой прозе»: «Судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра».*



## Оглавление

Глава 1 . . . . .	9
Глава 2 . . . . .	32
Глава 3 . . . . .	51
Глава 4 . . . . .	67
Глава 5 . . . . .	106
Глава 6 . . . . .	149
Глава 7 . . . . .	175
Глава 8 . . . . .	192
От автора . . . . .	229

# Издательство Гржебина

*Мемуарная и биографическая эссеистика*

## ВЫШЕДШИЕ КНИГИ:

**Борис Парамонов.**  
**ПОРТРЕТ ЕВРЕЯ.**

**Эдвин Поляновский.**  
**ГИБЕЛЬ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА.**

## ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:

**Николай Богомолов, Джон Мальмстад.**  
**МИХАИЛ КУЗМИН: ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО, ЭПОХА.**

**Эрих Голлербах.**  
**ОБРАЗ БЛОКА.**

Подготовка текста, вступит. статья и комментарий  
*Евг. Голлербаха.*

**Эрих Голлербах.**  
**РАЗЪЕДИНЕННОЕ.**

Подготовка текста, вступит. статья и комментарий  
*Евг. Голлербаха.*

**ЗАПРЕЩЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 1921  
ГОДА.**

Подготовка текста, вступит. статья и комментарий  
*В. Сажина.*

**Вячеслав Иванов.**  
**ДНЕВНИК 1906 ГОДА.**

Подготовка текста, вступит. статья и комментарий  
*Н. Богомолова.*

**Наталья Крандиевская.**  
**ВОСПОМИНАНИЯ.**

Первое полное издание. Подготовка текста, послесловие и комментарий *Ив. Толстого.*

**Владимир Купченко.**  
**СТРАНСТВИЕ МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА.**  
*Документальное повествование.*

**Александр Лавров.**  
**АНДРЕЙ БЕЛЫЙ В 1900-е ГОДЫ.**

**Ида Наппельбаум.**  
**УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ. КРАТКИЕ ВСТРЕЧИ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ.**

Под редакцией и с послесловием *В. Сажина.*

**Валентин Парнах.**  
**ПАНСИОН МОБЭР. Воспоминания.**

Подготовка текста, вступит. статья и комментарий  
*П. Нерлера.*

**ВОСПОМИНАНИЯ О ВЛАДИМИРЕ СОЛОВЬЕВЕ.**  
Составление, вступит. статья и комментарий *А. Нова.*

**Владимир Сосинский.**  
**КОНУРКА. Воспоминания.**

Подготовка текста, вступит. статья и комментарий  
*А. Горянина.*

**Дмитрий Философов.**  
**ДНЕВНИК 1917 ГОДА.**

Подготовка текста, вступит. статья и комментарий  
*Б. Колоницкого и М. Павловой.*

## *История литературы*

**ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:**

**Андрей Арьев.**

**МАЛЕНЬКИЕ ТАЙНЫ, ИЛИ ЯВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА.**

**Олег Проскурин.**

**НЕИЗВЕСТНЫЙ БАТЮШКОВ.**

Новые материалы по истории литературного быта начала XIX века.

**Ирина Сурат.**

**ПУШКИНИСТ ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.**

Заказы просим направлять по адресу:

Les Editions Grjebine  
11, rue Jules Chaplain  
75006 Paris France



Издательство «Нотабене»  
191023, Санкт-Петербург. а/я 112

**Книга отпечатана в Россия**

ИЗДАТЕЛЬСТВО



Г Р Ж Е Б И Н А